Книга посвящена последним месяцам и дням жизни великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, раскрывает основу жизненной позиции Лермонтова, сурово противостоящего и светской власти, и духовной, и нормативно-бытовой. Нужен ли был властям такой вольный поэт? Неприятие высшего света, гонения власти, предательство друзей и близких – все это привело к трагической развязке и гибели русского гения в неполных 27 лет. Русская литература понесла очередную, после гибели А.С.Пушкина, непоправимую потерю. Наиболее ярко об этом сказал В.Г.Белинский: «Долго теперь России не дождаться таких стихов, какими нас обогатил Лермонтов…»

Лермонтов во всех своих противоречиях, при всей сложности характера - прежде всего, величайший национальный русский гений, очень рано осознавший свою трагическую миссию.

Дуэль Лермонтова до сих пор окутана тайной. Множество версий не отвечают однозначно на все известные обстоятельства этой дуэли. В книге автор представил свою версию событий, происходивших в день гибели поэта.

Книга будет полезна для широкого круга читателей.

**Иван Никитчук**

**ПРОРОК**

**или**

**Шаг в бессмертие**

*Светлой памяти моей сестры*

*Тихончук (Никитчук) Любови Игнатьевны*

*посвящается*

***С тех пор как вечный судия***

***Мне дал всеведенье пророка,***

***В очах людей читаю я***

***Страницы злобы и порока.***

***Провозглашать я стал любви***

***И правды чистые ученья:***

***В меня все ближние мои***

***Бросали бешено каменья.***

***Посыпал пеплом я главу,***

***Из городов бежал я нищий,***

***И вот в пустыне я живу,***

***Как птицы, даром божьей пищи;***

***Завет предвечного храня,***

***Мне тварь покорна там земная;***

***И звезды слушают меня,***

***Лучами радостно играя.***

***Когда же через шумный град***

***Я пробираюсь торопливо,***

***То старцы детям говорят***

***С улыбкою самолюбивой:***

***"Смотрите: вот пример для вас!***

***Он горд был, не ужился с нами:***

***Глупец, хотел уверить нас,***

***Что бог гласит его устами!***

***Смотрите ж, дети, на него:***

***Как он угрюм, и худ, и бледен!***

***Смотрите, как он наг и беден,***

***Как презирают все его!"***

***М.Ю.Лермонтов***

**ПРОЛОГ**

Михаил Юрьевич Лермонтов… Нет в русской литературе фигуры более талантливой, притягательной и загадочной. Он как метеор пролетел над своим временем, ярко осветив его блеском своей поэзии.

Этот молодой военный, в николаевской форме, с тонкими усиками, выпуклым лбом и горькою складкой между бровей, был одною из самых феноменальных поэтических натур.

Исключительная особенность Лермонтова состояла в том, что в нем соединялось глубокое понимание жизни с громадным тяготением к сверхчувственному миру. В истории поэзии едва ли сыщется другой подобный темперамент. Нет другого такого поэта, который считал бы небо своей родиной и землю – своим изгнанием. Если бы это был характер дряблый, мы получили бы поэзию сентиментальную, слишком эфирную, стремление в «туманную даль», второго Жуковского, - ничего более. Но Лермонтов был человеком сильным, страстным, решительным, с ясным и острым умом, вооруженный волшебною кистью, смотревший глубоко в действительность, с ядом иронии на устах. И поэтому прирожденная Лермонтову неотразимая потребность в признании мира разливает на всю его поэзию обаяние чудной, божественной тайны. Он оставил во всей своей поэзии глубокий след таинственной связи с вечностью. Он не от мира сего. Откуда-то, с недосягаемой высоты, поэт осыпает нас своими чарующими песнями…

Это был человек гордый и в то же время огорченный своим внеземным происхождением, с глубоким сознанием которого ему приходилось странствовать по земле, где все казалось ему доступным для его ума и таким гадким для сердца.

Индивидуальность Лермонтова была и остается в течение почти двух веков загадкой. Во всем, что он писал, чувствуется взор человека, парящего «над грешной землей», человека, «не созданного для мира»…

Из всех загадок трагической дуэли не загадочно только поведение самого Михаила Лермонтова. Он никого убивать не собирался, стрелять не собирался, воспринимал всё как нелепое недоразумение… Мысли Мартынова понять значительно труднее. Прямодушным этот человек никогда не был. Он понимал, что Лермонтов - храбрый офицер - примет его вызов, но стрелять в него не будет. Он наверняка переживал из-за шуток Михаила Юрьевича, но еще больше завидовал ему. Мечтал ли он тогда же, во время дуэли, о геростратовой славе? Вполне возможно. Увы, но он, может быть, предвидел, что когда-нибудь войдет в число "великих людей России", благодаря тому, что убил русского гения…

Смерть Лермонтова от пули Мартынова была по существу самоубийством: в последний год жизни Лермонтов делал все, чтобы его вызвали на дуэль. Трагедия Мартынова в том, что он не смог стать выше оскорбленного самолюбия...

Ожог души и сердца - вот в чем сущность Лермонтова и его гения. Темное небо времени ожглось им, как метеором. Лермонтов - сгусток бунтарского пламени - погашен о чёрную дыру века...

1. **Глава первая. Петербург**

1841 год. Ранняя весна. Вечер. У входа в летний театр на Елагином острове стояли Лермонтов, Э. Мусина-Пушкина, Столыпин (Монго) - двоюродный дядя Лермонтова, на два года моложе племянника, молодой офицер, и поэт - граф Соллогуб. За черными деревьями мигали зарницы. Ветер налетал порывами и почти задувал свечи в больших фонарях. С шумом ветра сливались звуки скрипок и флейт, настраиваемых в оркестре.

- Должно быть, в заливе сейчас ужасная буря, - с грустью в голосе проговорила Мусина-Пушкина.

- Да, весной здесь часто бывают непогоды, - ответил Лермонтов. – Но весной все быстро меняется, и вслед за бурей быстро появляется солнце. Ах, милая, природа это удивительный мастер наряжать все вокруг нас с восхитительным вкусом.

- Государь и государыня насаждают подлинный вкус не только в нарядах дам, но и в более серьезных областях искусства, - некстати парировал Соллогуб, обращаясь за поддержкой к Столыпину.

Лермонтов рассмеялся.

- Вы разве не согласны со мной, Михаил Юрьевич? – с удивлением спросил Соллогуб.

- Право, не знаю, граф… Я еще не тратил своего времени на то, чтобы подумать об этом. Во всяком случае, ваша мысль не лишена некоторого остроумия.

Мусина-Пушкина умоляюще посмотрела на Лермонтова:

- Господа, полно вам, пойдемте в залу. Здесь становится холодно. Кажется, сегодня в зале будет великая княгиня Мария Николаевна.

Зал театра уже порядочно был заполнен гостями, ярко освещен - блистали мундиры, наряди и бриллианты, гремела музыка.

- Какой блеск вокруг, - воскликнула Эмилия Карловна!

- Да, блеск беспощадный, - с насмешкой в голосе отозвался Михаил Юрьевич.

- Вы, Михаил Юрьевич, как всякий поэт, любите необычайные сравнения. Что же беспощадного в этом блеске? – удивленно спросил Соллогуб.

- Этот блеск удивителен тем, что в одно мгновение может разрушить наши прекрасные надежды на счастье, наши прекрасные иллюзии… Недавно, граф, ночью я ехал в Царское на лошадях. Подходила гроза. Передо мной в темноте стояли густые высокие нивы, подымались кущи столетних деревьев, и мне казалось, что я еду по богатой, устроенной к счастью стране. Но сверкнула очень яркая зарница, и я увидел каждый колос хлеба на пыльных полях, жалкие, печальные хижины. Колосья были редкие и пустые, хижины - покосившиеся. Так исчез обман богатой и счастливой страны.

- Да… Это весьма интересно…, - растеряно промолвил Соллогуб.

- Наоборот, это весьма огорчительно.

- Должен ли я понимать ваш рассказ как иносказание?

- Располагайте свободно своим мнением, граф.

- Тише, господа, дочь императора вошла в зал, - шепнула Эмилия Карловна.

В зале прошел шепот, дамы и кавалеры поклонами приветствовали великую княгиню. Мария Николаевна, оглядываясь, подозвала Соллогуба.

- Кто этот офицер, с которым вы тотчас разговаривали, граф?

- Это Лермонтов, ваше высочество.

- Вот он каков! Какие у него мощные плечи и какой неприятный взгляд. Он некрасив, но притягателен.

Лермонтов был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали беззаботное равнодушие. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты: когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться. В свете утверждали, что язык его зол и опасен... Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, на нем можно было прочесть следы прошедшего и чудные обещания будущности... В его улыбке, в его странно блестящих глазах было что-то таинственное. Они не смеялись, когда он смеялся! Это признак - или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его - непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен... При этом он имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам…

- Тончайший поэт, ваше высочество, - продолжил Соллогуб.

- Да. Я читала его стихи и прозу... Как жаль, что нынче поэты чураются Двора. А что иное, как не Двор, могло бы придать полный блеск их поэзии. Но времена менестрелей прошли.

- Как знать, ваше высочество…

- Я бы хотела видеть Лермонтова у себя.

- Лишний алмаз в ожерелье вашего высочества только усилит его сияние.

- Как вы любите, граф, выспренно выражаться, - отходя с улыбкой, сказала Мария Николаевна.

Проходя мимо Мусиной-Пушкиной, она на мгновение остановилась и поздоровалась с ней.

- Я слышала, графиня, что вы ухаживаете за бедными девушками в тифозном госпитале?

- Да, ваше высочество, - ответила Мусина-Пушкина, сделав реверанс.

- Это похвально. Но берегите себя. Ваша прелестная жизнь нужна не только вашему супругу и родным, она еще дает пищу для развития поэзии.

- Какая дерзость! – произнесла тихо Мусина-Пушкина после того, как от них удалилась Мария Николаевна.

Лермонтов с Мусиной-Пушкиной отошли за колонны зала, уединившись. Графиня молча, протянула Лермонтову руку.

- Простите меня, - сказал Михаил Юрьевич, - Я часто не был в силах скрывать свое отношение к вам и дал повод для этой грубости.

- Пустое, Лермонтов… - сказала она дрожащим голосом.

- Чем больше я встречаюсь с вами, тем тяжелее у меня на сердце. Вашу молодость и чистоту уже пятнают клеветой. Свет ненавидит любовь.

- Нам, кажется, придется не видеться друг с другом, - грустно прозвучал ее голос.

- Как вам будет угодно, - с неприкрытой печалью в голосе ответил Лермонтов.

- Ты сердишься, Мишель? Я думаю, нам давно пора перейти на “ты’.

В голосе Мусиной-Пушкиной послышалась тревога.

- О нет. Но, очевидно, любовь слишком тяжелая ноша для таких слабых плеч, как ваши, графиня. Ну что ж! Должно быть, мир устроен так, что истинная любовь существует только в воображении поэтов… Ежели бы вы знали, какою сердечностью были полны мои мысли о вас!.. Я благодарен тебе, и, конечно, с удовольствием согласен перейтина “ты”... Как это мило, Эмилия!..

Лермонтов неожиданно замолк. К ним подошел Столыпин. Он выглядел бледным и взволнованным. Он быстро поклонился с извинением Мусиной-Пушкиной и сказал, почти задыхаясь.

- Мишель, я тебя везде ищу…

- А что? Что случилось, Монго? – с тревогой в голосе спросил Лермонтов.

- Дурные вести с Кавказа, Мишель.

- Говори!

- Получено известие… Саша Одоевский…

- Ну?!

- Саша Одоевский умер от горячки… Где-то в дырявой палатке, в походе…

- Убили Сашу! Откуда ты узнал? – прокричал Лермонтов, тряся Столыпина за плечи.

- Он умер, Мишель.

- Нет, его убили! Оставь меня, Монго! Я хочу побыть один… И ты, Эмилия, извини меня...

*Я знал его: мы странствовали с ним*

*В горах востока, и тоску изгнанья*

*Делили дружно; но к полям родным*

*Вернулся я, и время испытанья*

*Промчалося законной чередой;*

*А он не дождался минуты сладкой:*

*Под бедною походною палаткой*

*Болезнь его сразила, и с собой*

*В могилу он унес летучий рой*

*Еще незрелых, темных вдохновений,*

*Обманутых надежд и горьких сожалений!...*

*И мрачных гор зубчатые хребты...*

*И вкруг твоей могилы неизвестной*

*Всё, чем при жизни радовался ты,*

*Судьба соединила так чудесно:*

*Немая степь синеет, и венцом*

*Серебряным Кавказ ее объемлет;*

*Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет.*

*Как великан склонившись над щитом,*

*Рассказам волн кочующих внимая,*

*А море Черное шумит не умолкая.*

Стихи вырвались из самого сердца, наполненные болью за друга, боевого товарища, поэта…

- Ах, Саша, Саша!.. Как же так?.. Уходят лучшие люди, способные составить славу и гордость России… - еле слышно прошептал Михаил Юрьевич, - может быть и мне уготована злая судьба, может быть и мне суждено умереть там же, среди величественных гор Кавказа?..

Уже загоралась утренняя заря, а Лермонтов еще не ложился спать. Он сидел за столом в своей комнате с зажжённой свечой в глубокой задумчивости и что-то временами чертил на листе бумаги или писал.

В комнату заглянула проснувшаяся бабушка, Елизавета Алексеевна.

- Мишенька, ты еще не ложился или уж поднялся? Я даже не слышала…

- Милая бабушка, не спиться мне что-то. Не беспокойтесь, высплюсь еще… Прикажите чаю мне подать.

- Сейчас, Мишенька! Сейчас принесут чай… Мишенька, я вчерась передала свою просьбу самому царю через Жуковского, чтобы тебе разрешили остаться в Петербурге. Может, уважат меня, старуху. Мне здесь так тяжело без тебя, Мишенька. Ты моя единственная надежда. Я все изнервничалась, у меня иногда даже ноги отнимаются…

- Ну, что вы, моя бабуля? Я был бы безмерно счастлив, если бы мне вышла отставка. Как бы весело мы зажили в наших Тарханах. Какое это удивительное место – Тарханы. Я часто вижу себя там ребенком, гуляющим на зеленой траве перед домом…

- Мишенька, мне хочется, чтобы ты не оставил службу сейчас, пока я жива. Вот похоронишь меня, и делай что хочешь. И что мы с тобой будем делать в Тарханах? От скуки ты там изведешься…

Доложили о визите Столыпина.

- Мишенька, заговорилась я. Сейчас велю вам чаю подать. Проходи, Алексей Аркадьевич.

- Простите, что я ворвался в такой ранний час. Ты какой-то бледный, Михаил Юрьевич. Здоров ли? – обеспокоенно спросил Столыпин, присаживаясь в кресло напротив Лермонтова. – Я тебе принес несколько приятных новостей.

- Давно обо мне не было приятных известий. Давай, делись…

- В последней книжке «Отечественных записок» есть очень лестный отзыв самого Белинского о твоих стихах, Мишель. Ты становишься знаменитостью, и это радует нас, твоих друзей. Ты только послушай, что он пишет:

«… наш век есть век размышления. Поэтому рефлексия есть законный элемент поэзии нашего времени, и почти все великие поэты нашего времени заплатили ему полную дань…»

- Мишель, это он о тебе - «великие поэты нашего времени»!.. Я горжусь тобой!.. Нет, нет, не возражай! Ты послушай далее. Он приводит твои стихи:

*«Богаты мы, едва из колыбели,*

*Ошибками отцов и поздним их умом,*

*И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,*

*Как пир на празднике чужом…»*

- И далее пишет: «Какая верная картина. Какая точность в выражении!.. Эти стихи написаны кровью: они вышли из глубины оскорбленного духа: это вопль. Это стон человека, для которого отсутствие внутренней жизни есть зло, в тысячу раз ужаснейшее физической смерти!.. По глубине мысли, роскоши поэтических образов, увлекательной, неотразимой силе поэтического обаяния, полноте жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненным фонтаном, его создания напоминают собой создания великих поэтов… Таких стихов долго, долго ждала Россия…»

- Ну, как? Каков Белинский?..

- Виссарион Григорьевич – восторженная душа, и, право, он здесь меня излишне превозносит. Не спорю, эти стихи мне удались, но я не предполагал такого их обобщения… Я высоко ценю мнение Белинского.

Он многого еще не знал о самом себе. Но в нем жило ощущение будущего. Было ли это предвидением или бунтом совести, взрывом молодых чувств - едва ли бы стал объяснять, даже если бы его спросили в упор. Спрашивать было некому. Хотя к его имени теперь тянулось множество людей. Российская читающая молодежь готова была признать его своим вожаком, следовать за ним. Голос Лермонтова прозвучал как клич в ночи, как призыв к действию. Так он и был понят. Он еще просто не успел осознать, сколько единомышленников ему готовилось!

Неважно, кто с чего начинает. Главное, что по истечении лет человек непременно становится тем, чем должен быть. Обстоятельства помогают этому не потому, что они благоприятны, а оттого, что человек призвания поворачивает их к себе нужной стороной: чего-то не замечает вовсе, другое с жадностью впитывает.

- Спасибо, Монго, за книжку «Отечественных записок», - пробежав глазами по ее содержанию, сказал Лермонтов, - Надеюсь, ты ее мне оставишь?

- Конечно, Мишель!

- Ты еще что-то хотел мне сообщить?

- Да...

- У тебя какой-то таинственный вид.

- Нет, Мишель, я бесстрастен во всех обстоятельствах жизни.

- Не тяни, говори свою новость, Монго.

- Это скорее не новость, а поручение, почти дипломатическое. Только я прошу тебя не отвечать мне сгоряча, хорошо не подумав обо всех обстоятельствах дела.

- Ты меня заинтриговал. Даже лучше, чем самая ветреная дама в маскараде.

- Великая княгиня Мария Николаевна выразила желание, чтобы ты был ей представлен.

Лермонтов долго молчал в глубоком размышлении. Глаза его зажглись неприятным огнем, исказилось гневом.

- Неужто они забыли, что это я написал слова о палачах «свободы, гения и славы»?! – вдруг громко крикнул он, ударив кулаком по столу.

- Мишель!

- Не пугайся, Монго. Извини меня… Где и когда я буду иметь счастье быть представленным великой княгине?

- Ее высочество будет на ближайшем бале у Воронцовых-Дашковых.

- Мишенька, чего это ты раскричался? Двое вас, а подняли такой шум, что я думала – невесть что у вас стряслось. Что с тобой, Мишенька? – с беспокойством в голосе промолвила Елизавета Алексеевна, войдя в комнату.

Лермонтов бросился к бабушке, стал перед ней на колени, обнял ее ноги и умоляюще проговорил:

- Бабушка, вы все можете. Бабушка, милая, добейтесь моей отставки. Я уеду из Петербурга.

- Да что ты, Мишенька, Христос с тобой. Снова ты об этом. Встань с колен сейчас же.

Лермонтов поднялся:

- Я не могу больше служить в армии. Сделайте для меня это последнее доброе дело.

Бабушка села в кресло:

- Опомнись, Мишенька. Ты принят в лучших домах, по службе тебя не стесняют, – рано тебе еще в отставку. Алеша, что с ним?

- Он прав, Елизавета Алексеевна. Его надо избавить от мундира, - сказал Столыпин, поддерживая своего друга.

- Я ведь прошу немногого. Хотя бы краешек свободы.

- Мишенька, мы уже говорили с тобой об этом. Да что ты будешь делать в отставке? Зачем тебе эта свобода? Неужто, тебя уж так утесняют?

- Я уеду в Тарханы. Помните, бабушка, какие там осенью дни… Помнишь, Монго, как туманы стелются над прудом и желтые листья шумят на ветру.

- Да что тебе в Тарханах-то делать при твоей молодости? Губить ее, что ли?

- Работать, бабушка! Работать!!!

- Не пойму я тебя, Мишенька. Стихи писать всюду можно. Да как у меня язык повернется просить об отставке? Хотя бы разрешили тебе остаться в Петербурге.

- Ну что ж, воля ваша. Но чувствую я, что недолго еще мне быть в столице. Снова под чеченские пули…

У Елизаветы Алексеевны из глаз потекли слезы:

- Мишенька, друг мой, одно ты у меня утешение в жизни. Смирись. Умру я скоро, смерть уже стучится в окошко… неужто ты не дашь мне покойно закрыть глаза.

Столыпин незаметно вышел.

- Я старуха беспонятная, что скрывать. Стихи твои чудные, но разве это занятие для дворянина? Не соображаю я этого. Не гневайся на меня, Мишенька. Уж позволь мне любить тебя, старой дуре, попросту, без затей.

- Как бы не сложилось, но верьте, моя милая бабушка, что я люблю вас всем сердцем.

- Я верю тебе, Мишенька… Ты откушай еще чайку, а я пойду по дому похлопочу.

Оставшись один, Лермонтов снова погрузился в раздумья.

Бал у Воронцовых-Дашковых был в полном разгаре. Самыми блестящими после балов придворных были, разумеется, празднества, даваемые графом Иваном Воронцовым-Дашковым. Здесь собирался весь цвет петербургского общества, часто присутствовали и особы царской семьи. Вот и сегодня здесь брат императора великий князь Михаил Павлович и дочь императора – Мария Николаевна.

Между тем в зале уже гремела музыка, и бал начинал оживляться; тут было всё, что есть лучшего в Петербурге: два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски, что, впрочем, вовсе неудивительно; несколько генералов и государственных людей; один английский лорд, почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стекла двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах; тут были и доморощенные дипломаты, путешествовавших на свой счет не далее Ревеля и утверждавших резко, что Россия государство совершенно европейское, и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголове. Они гордо посматривали из-за накрахмаленных галстуков на военную молодежь, преданную удовольствию…

Танцующие кавалеры разделились на две группы - одни добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без устали, короче, исполняли свою обязанность как нельзя лучше, другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выражением лица скользили небрежно по паркету, изредка бросая фразы своей партнерше

 Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы, и чудеса модной лавки... волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белила, звучные фразы, заимствованные из модных романов, бриллианты...

Лермонтов смотрел на происходящее вокруг него и невольно подумал: «Женщина на бале составляет с своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете. Судить о душе и уме женщины, протанцевав с нею мазурку, всё равно, что судить о мнении и чувствах поэта, прочитав одно его стихотворение или даже поэму …»

Лермонтов глазами пытался найти в веселящейся толпе Эмилию Карловну, милую Эмму, и не находил. К нему подошла давняя знакомая.

 - Отчего вы не танцуете, Мишель? - спросила она его.

 - Я всегда и везде следую вашему примеру.

 - Разве с нынешнего дня.

 - Что ж, лучше поздно, чем никогда. Не правда ли?

 - Иногда бывает слишком поздно… Я с некоторых пор перестала удивляться вашему поведению. Для других бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. Я вас теперь очень хорошо знаю.

 - А нельзя ль узнать, кто так искусно объяснил вам мой характер?

 - О, это тайна, - сказала она, взглянув на него пристально и прижав к губам свой веер.

 Он наклонился и с притворной нежностью шепнул ей на ухо:

 - Одну тайну вашего сердца вы мне давно уже поверили, ужели другая важнее первой?

 Она покраснела при всей своей неспособности краснеть. Приняв серьезный и несколько печальный вид, она отвечала с расстановкой:

 - Вы мне напоминаете вещи, об которых я хочу забыть.

 - Но еще не забыли?

 - О, не продолжайте, я ничему не поверю более, вы мне дали такой урок...

Лермонтов отвечал почти автоматически, он был весь погружен в атмосферу бала.

Наконец он увидел вошедшую в залу Мусину-Пушкину. Сердце его радостно забилось.

- Простите меня, графиня, мне необходимо отлучиться.

Поцеловал руку своей собеседницы, он направился в сторону Мусиной-Пушкиной. Он подошел к ней с душевным волнением, поклонился и поцеловал ее руку. Теперь рядом с ним была любимая женщина – обворожительная Эмилия Мусина-Пушкина. Она сегодня была по-особому красивая. Черные ее глаза блистали счастьем.

- Как я счастлив видеть тебя, Эмма. Я уже даже не надеялся, - с нежностью в голосе почти прошептал Лермонтов.

- Почему, Мишель? Я же тебе обещала быть на бале, - ответила она с чарующей улыбкой.

«Ах, бог мой, кажется, я готов отдать за эти глаза и улыбку все на свете». Эта мысль сверкнула в мозгу Лермонтова, как молния.

Они уже станцевали несколько туров, стояли у колоны, тихо переговариваясь. Одновременно к ним подошли Столыпин и распорядитель бала.

- Господин Лермонтов, - обратился к нему распорядитель, - вас приглашает подойти их высочество Мария Николаевна.

- Алексей Аркадьевич, я тебе поручаю развлекать Эмилию Карловну на время моего отсутствия.

- Не беспокойся, Мишель, мы обещаем не скучать.

Подойдя к великой княгине, Лермонтов поклонился.

- Я весь в вашей воле, ваше высочество.

- Мсье Лермонтов, признаюсь, я очарована вашей поэзией.

- Благодарю вас.

- Но я бы хотела, чтобы вы, Лермонтов, были окружены самым высоким блеском, вы заслуживаете его. Только близость ко Двору даст вам этот блеск и свободу. Она придаст великолепие и Двору, и особую силу вам как поэту. Как прекрасно было бы, если бы при Дворе существовал поэт, могучий, блистательный. Тогда наша эпоха могла бы считаться одной из самых просвещенных эпох в истории России. Что же вы молчите?

- Я слушаю вас с чрезвычайным вниманием.

- В ближайшие дни я позволю себе оторвать вас от вдохновений, чтобы поговорить с вами об этом в другом, более уютном и спокойном месте.

- Это будет совершенно бесполезно, ваше высочество.

- Почему?

- Потому что поэзией торгуют только подлецы, ваше высочество. А я не считаю себя в их числе.

Марина Николаевна, закрывшись веером, с гневным выражением лица отвернулась от Лермонтова, прошипев:

- Выскочка!..

Лермонтов поклонился и тоже отвернулся.

К нему быстро подошел Столыпин:

- Миша, я тебя очень прошу. Уходи сейчас же отсюда. Не затягивай ты петлю у себя на шее.

- Иначе я не мог поступить, Монго.

- Я не знаю, о чем вы говорили, но великая княгиня была оскорблена.

К ним подошел и молодой князь Вяземский, оказавшийся также на балу:

- Теперь у всех ваших врагов, Михаил Юрьевич, развязаны руки. Ты ставишь и нас, твоих друзей, в отчаянное положение.

Лермонтов, с грустной улыбкой, очень тихо ответил:

- Хорошо. Я уйду.

Лермонтов медленно направился к выходу. Дорогу ему преградил Соллогуб.

- Что же ты наделал, Михаил Юрьевич? Я же хотел для тебя как лучше! Лермонтов, того и гляди, тебя арестуют! Посмотри, как грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович! Вскоре сюда прибудем сам Николай Павлович с супругой…

- У меня не арестуют, - сказал граф Воронцов-Дашков, проходя мимо.

- Оставьте меня, друзья… Мне здесь душно и гадко… Вы слышите это шипенье? Здесь, как в клубке змей, все против всех!..

 Около выхода Лермонтова встретила Мусина-Пушкина.

- Лермонтов, милый, зачем ты это сделал?

- И ты осуждаешь меня?.. – грустно промолвил Лермонтов.

- Нет! Никогда! Может быть, и вправду моя любовь слишком трудна для моих плеч, но я готова нести эту тяжесть.

- Как долго я ждал этих слов..., - заглядывая в ее глаза, прошептал Лермонтов. - Поедем отсюда, я провожу тебя.

Они вышли на улицу, им подали карету, и она покатилась по ночному Петербургу. Подъехав к дому, он помог ей выйти с кареты.

- Прощай, Михаил Юрьевич. Мы скоро увидимся. Но одно ты должне обещать мне, как сестре.

- Что? Говори!

Она взяла в свою руку руку Михаила Юрьевича.

- Беречь себя. Не только как поэта, но и попросту как Мишу Лермонтова.

Лермонтов нежно поцеловал ее руку.

- Ты назвалась моей сестрой, а я, следовательно, твой брат… Спасибо тебе, дорогая Эмма. Но… мне бы хотелось чего-то большего…

- Мишель, дорогой, я люблю тебя… Но ты ведь знаешь, что я повенчана, у меня есть супруг, которому я верна… И большее просто не возможно…

После некоторого раздумья Лермонтов, взяв ее руку, сказал с какой-то особой теплотой в голосе:

- Как я тебя понимаю, мой добрый ангел… Я думал много о тебе в последнее время, и, кажется, сегодня я получил ответ на все свои сомнения…

- Мишель, я прошу тебя не сердиться на меня и не выбрасывать меня из своего сердца. Мне будет очень больно…

- Никогда, Эмма, никогда… Поверь мне, ты навсегда поселилась там… Вчера я написал тебе небольшое стихотворение. Возьми его.

Лермонтов вынул сложенный небольшой лист бумаги.

- Когда ты его прочтешь, ты поймешь, что я все предвидел.

- Спасибо! Я сейчас лягу в постель, буду читать твое стихотворение и думать о тебе, мой милый Михаил Юрьевич. Ты только не уходи. Немножко пройдись вдоль дома… Я буду слушать твои шаги… Прощай!

Лермонтов поцеловал ее руку. Мусина-Пушкина скрылась в подъезде дома.

Михаил Юрьевич остался один. Светили звезды, взошла луна… Природа соответствовала его взволнованному сердцу. Он медленно пошел вдоль дома, потом вернулся и снова повторил прежний путь…

Мусина-Пушкина уже в постели открыла листок со стихом и, прислушиваясь к шагам за окном, принялась читать.

*Графиня Эмилия —*

*Белее чем лилия,*

*Стройней ее талии*

*На свете не встретится.*

*И небо Италии*

*В глазах ее светится,*

*Но сердце Эмилии*

*Подобно Бастилии.*

- Милый, милый Миша!!! Ничего ты не знаешь! Я очень тебя люблю… люблю… люблю…

И сон сомкнул ее глаза.

Лермонтов пришел домой далеко за полночь, почти утром. Он снял верхнюю одежду, зажег свечу и сел за стол. В голове теснился рой мыслей вокруг происшедшего. Он видел прекрасные глаза Эммы, а в ушах стояло злобное шипение «избранного» общества: «Выскочка!... Выскочка!.. Выскочка!...»

Рука сама потянулась к перу, и вскоре из-под него появились слова, потом строчки…

*Как часто, пестрою толпою окружен,*

*Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,*

*При шуме музыки и пляски,*

*При диком шепоте затверженных речей,*

*Мелькают образы бездушные людей,*

*Приличьем стянутые маски,*

*Когда касаются холодных рук моих*

*С небрежной смелостью красавиц городских*

*Давно бестрепетные руки, —*

*Наружно погружась в их блеск и суету,*

*Ласкаю я в душе старинную мечту,*

*Погибших лет святые звуки.*

*И если как-нибудь на миг удастся мне*

*Забыться, — памятью к недавней старине*

*Лечу я вольной, вольной птицей;*

*И вижу я себя ребенком; и кругом*

*Родные всё места: высокий барский дом*

*И сад с разрушенной теплицей;*

*Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,*

*А за прудом село дымится — и встают*

*Вдали туманы над полями.*

*В аллею темную вхожу я; сквозь кусты*

*Глядит вечерний луч, и желтые листы*

*Шумят под робкими шагами.*

*И странная тоска теснит уж грудь мою:*

*Я думаю об ней, я плачу и люблю,*

*Люблю мечты моей созданье*

*С глазами полными лазурного огня,*

*С улыбкой розовой, как молодого дня*

*За рощей первое сиянье.*

*Так царства дивного всесильный господин —*

*Я долгие часы просиживал один,*

*И память их жива поныне*

*Под бурей тягостных сомнений и страстей,*

*Как свежий островок безвредно средь морей*

*Цветет на влажной их пустыне.*

*Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,*

*И шум толпы людской спугнет мечту мою,*

*На праздник незванную гостью,*

*О, как мне хочется смутить веселость их,*

*И дерзко бросить им в глаза железный стих,*

*Облитый горечью и злостью!..*

Лермонтов опустил перо, перечитал написанное, поправил несколько слов… «О, как мне хочется смутить веселость их, и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью!..» - мысленно произнес он последние строки.

Он лег на постель не раздеваясь, заложив за голову руки, и снова погрузился в свои мысли, в которых были и счастье, и тревога, и пугающая неизвестность будущего. Наконец к нему пришел сон, который захватил его в свой плен.

В тот вечер в салоне Карамзиных собралось изысканное общество, человек около десяти. Кроме хозяйки, Софьи Николаевны, дочери известного историка и писателя, здесь были Жуковский, Глинка, Брюллов, Даргомыжский, Лермонтов…

Лермонтов сидел у чайного стола. Вид у него был грустный, лицо бледное с задумчивостью более обыкновенного.

- Михаил Юрьевич, дорогой, обратилась к нему Карамзина, - вы сегодня совсем другой, молчите… Мне кажется, вы чем-то расстроены…

- Софья Николаевна, добрая душа, ну что меня может расстроить, кроме царской немилости. Кабы знал, где упаду, там бы соломки подостлал… Вчера мне сказали, что их величество в очередной раз вычеркнул меня из наградного списка. Двору я не мил. А это значит, что не видать мне отставки. Снова сошлют меня под чеченские пули…

- Ну, что вы так, Михаил Юрьевич? Все уладится, все будет хорошо. Я знаю, что за вас хлопочет Жуковский, а он имеет большое влияние при Дворе.

Лермонтов посмотрел на Карамзину, потом на Жуковского своими печальными глазами. Горькая улыбка застыла на его лице.

- Ах, Софья Николаевна, ничего этого не будет… Я чувствую, что жить мне осталось совсем немного.

- Михаил Юрьевич, ну, зачем эти грустные мысли?! Все вас просят прочитать нам ваши новые стихи. И я очень прошу.

- Может быть, в другой раз? Ей богу, мне сегодня не до стихов.

В зал вошел еще один гость - граф Соллогуб. Он поцеловал руку Софьи Николаевны и сразу же обратился к Лермонтову:

- Михаил Юрьевич, я к тебе с приятной новостью.

- Для меня приятная новость? И что это за такая?

- Я узнал, что цензура выдала разрешение на печатание вашего романа «Герой нашего времени». Поздравляю!

- Спасибо, граф! Спасибо Владимир Александрович! Это действительно радостное для меня известие.

Лицо Лермонтова просветлело. Все гости оживились, поздравляя его с этой новостью.

- Граф, - обратилась Карамзина к Соллогубу, - поддержите нас, упросите Михаила Юрьевича прочитать нам свои новые стихи.

- Я думаю, Михаил Юрьевич нам не откажет, - глядя на Лермонтова, сказал граф, - Он ведь видит и мое нетерпение услышать их.

Лермонтов нехотя поднялся со своего стула и подошел к окну. Софья Николаевна, Соллогуб и еще двое, трое из гостей окружили Лермонтова, приготовившись его слушать. Он оглянул всех беглым взглядом, потом, словно задумавшись, медленно начал читать:

*На воздушном океане,*

*Без руля и без ветрил,*

*Тихо плавают в тумане*

*Хоры стройные светил;*

*Средь полей необозримых*

*В небе ходят без следа*

*Облаков неуловимых*

*Волокнистые стада.*

*Час разлуки, час свиданья —*

*Им ни радость, ни печаль;*

*Им в грядущем нет желанья*

*И прошедшего не жаль.*

*В день томительный несчастья*

*Ты об них лишь вспомяни;*

*Будь к земному без участья*

*И беспечна, как они!*

Несколько минут все молчали, завороженные прекрасными стихами и прекрасным исполнением автора. Потом все кинулись обнимать Лермонтова, выказывая истинное восхищение.

Кто-то воскликнул:

- Это по-пушкински!

- Нет, это по-лермонтовски! Одно другого стоит, - возразил Соллогуб.

Лермонтов стоял с глазами, наполненными слезами.

- Нет, друзья, далеко мне до Пушкина, - сказал он, грустно улыбнувшись, да и времени работать мало осталось: убьют меня… Я чувствую это.

Все стали утешать и поздравлять Михаила Юрьевича. Но он, никого не слушая, взял за руку Соллогуба и отошел с ним в сторонку. Здесь, встав перед ним, Лермонтов стал взволновано говорить:

- Послушай, Владимир, скажи мне правду. Слышишь – правду… Как добрый товарищ, как честный человек, как поэт… Есть у меня талант или нет?.. говори правду!..

- Помилуй, Лермонтов, - стал отвечать Соллогуб с настойчивостью в голосе, - как ты смеешь меня об этом спрашивать! – человек, который, как ты, который написал…

- Хорошо, - примирительно начал Лермонтов, - ну, так слушай, милостивый государь: когда я вернусь, а ты женишься, образумишься, я тоже, и вместе с тобою станем издавать толстый журнал…

- Конечно, Михаил Юрьевич, - соглашался Соллогуб.

Но ему показалось, что какое-то тайное скорбное предчувствие зарождается в его душе, подсказыващее, что не бывать этому.

Вскоре Лермонтов, распрощался с гостями, поцеловал руку Софьи Николаевны, и откланялся.

Бабушка добилась продления отпуска для внука еще на две недели. Лермонтов был счастлив. Он много гулял по улицам весеннего Петербурга, дыша петербургским воздухом. Лермонтов всё чаще думал о Пушкине, применял его судьбу к своей. И всё больше находил несовпадений.

Пушкин жил в окружении людей, близких по духу. Лицейское товарищество было важнейшей частью его жизни, тем светлым кругом от лампы, где душе казалось вольно и уютно... Лермонтов, как и Тютчев, прошёл мимо Пушкина, не был им особо замечен, находился как бы за чертой света, хотя стихи его Пушкин читал. В сущности, жадности к новым дарованиям у Пушкина могло и не быть: он сам был переполнен до краев. То, что он хвалил (и, наверно, искренно) стихи своих приятелей, говорило лишь о том, что их пустоты и слабины он безотчетно заполнял собою. Он нуждался в ласке и побратимстве. Лермонтов мог обходиться самим собой.

Пушкин не выходил из-под обаяния образа Петра. Восхищался им и противоборствовал ему, искал литературному образу точный исторический эквивалент.

Для Лермонтова Пётр словно вовсе не существовал. Самой влекущей фигурой в истории для него стал Наполеон - почти современник (когда умер Наполеон, Лермонтову было уже одиннадцать лет). Иван Грозный был интересен не столько как личность, сколько как весь отрезок времени, придавленный тяжелой дланью царя, - и то, как выпрямлялись люди, вырываясь из-под этой длани. Мотив, в высшей мере созвучный самому поэту!.. Но Пугачев притягивал их обоих. Они постоянно возвращались к нему пером и мыслью...

Лермонтов посещал друзей, салон Карамзиных, Смирновой-Россет и других важных дам. Познакомился с поэтессой Е.П.Ростопчиной - Додо, как ее называли близкие, часто обедал у нее. Как поэтические натуры они хорошо понимали друг друга и это их сблизило. Встречались они едва ли не каждый день, обмениваясь впечатлениями о литературных новинках. Они обменялись и стихотворными посланиями. Евдокия Петровна подарила ему стихотворение «На дорогу»:

*Михаилу Юрьевичу Лермонтову*

 *Ты бросишь все, столь нежно любимое.*

 *Данте. "Божественная комедия"*

*Есть длинный, скучный, трудный путь...*

*К горам ведет он, в край далекий;*

*Там сердцу в скорби одинокой*

*Нет где пристать, где отдохнуть!*

*Там к жизни дикой, к жизни странной*

*Поэт наш должен привыкать*

*И песнь и думу забывать*

*Под шум войны, в тревоге бранной!..*

Михаил Юрьевич вписал в альбом Ростопчиной:

*Графине Ростопчиной*

*Я верю: под одной звездою*

*Мы с вами были рождены;*

*Мы шли дорогою одною,*

*Нас обманули те же сны.*

*Но что ж! - от цели благородной*

*Оторван бурею страстей,*

*Я позабыл в борьбе бесплодной*

*Преданья юности моей.*

*Предвидя вечную разлуку,*

*Боюсь я сердцу волю дать;*

*Боюсь предательскому звуку*

*Мечту напрасную вверять...*

Евдокия Петровна, прочитав стихотворение, стала возражать против слов о вечной разлуке:

- Михаил Юрьевич, ни к чему такая мрачность! Я верю, что все обойдется и мы с вами еще вместе посотрудничаем в каком-нибудь журнале. Лучше в вашем.

- Любезная Додо, поверьте, это не мрачность или напускной байронизм. Я далек от всего этого. Я, как и, наверное, любой человек, люблю жизнь и не хочу умирать. Мною намечено много планов, которые надо бы осуществить... В этот приезд я сильно изменился. Вы, наверное, это заметили. Времяпрепровождение в свете больше не манит меня. На балах я встречаю тех же дам с невинно-ядовитыми улыбками, тех же пустых блестящих адъютантиков. По гостиным поют те же самые романсы и теми же сахарными голосами. Когда гусары зовут меня к ломберному столу, я ставлю несколько карт, потом, зевая, удаляюсь. Но душа моя в тревоге... Знаете, вчера я был у одной гадалки, так она мне сказала, что больше не бывать мне в Петербурге, что я получу отставку, но воспользоваться ею не смогу.

- Стоит ли уж так верить гадалкам?

- Это не простая гадалка, дорогая графиня. Она нагадала гибель нашего незабвенного Александра Сергеевича.

- И все же, Михаил Юрьевич, я бы не стала придавать ее словам столько серьезности.

- Спасибо, вам, Додо, за слова утешения, но от судьбы не уйти никому… Впрочем, я у вас, кажется, засиделся, мне пора. Еще увидимся. Целую вашу ручку.

Дома его встретила взволнована бабушка.

- Мишенька, где ты так долго был? Я уже все глаза проглядела.

- Бабуля родная, был у друзей, у знакомых, заезжал к Жуковскому, Краевскому, Одоевскому, обедал у графини Ростопчиной… Был у Софьи Соллогуб. Какая же она красавица! Она сказала сегодня, что у меня магический взгляд, и я на нее имею магнетическое влияние. Муж ее, кажется, ревнует меня к своей жене и не любит меня... Это так забавно. Я, чтобы муж перестал ее ревновать, написал для нее стихотворение и уже вручил его ей. Вот послушай, бабушка.

Лермонтов улыбнулся и начал читать:

*Нет, не тебя так пылко я люблю,*

*Не для меня красы твоей блистанье:*

*Люблю в тебе я прошлое страданье*

*И молодость погибшую мою.*

*Когда порой я на тебя смотрю,*

*В твои глаза вникая долгим взором:*

*Таинственным я занят разговором,*

*Но не с тобой я сердцем говорю.*

*Я говорю с подругой юных дней,*

*В твоих чертах ищу черты другие,*

*В устах живых уста давно немые,*

*В глазах огонь угаснувших очей.*

- Мишенька, у тебя прекрасные стихи, все об этом говорят. И тебя здесь все любят…

Лермонтов посмотрел с грустной улыбкой на Елизавету Алексеевну:

- Это вам, моя родная, только так кажется. Если и любят, то, помимо вас, бабушка, еще три, четыре человека. Двор меня ненавидит…

- Ну, что ты, Мишенька, их величество отнесся с уважением к моей просьбе и продлил твой отпуск. Может, смиловистится, и вообще разрешит тебе остаться в столице?..

- Ой, пустая моя голова, - сплеснув руками, проговорила Елизавета Алексеевна, - совсем забыла. Приходил курьер, принес тебе приглашение к завтрашнему дню явиться в военное министерство. Вон оно на столе лежит. Может, завтра скажут, чтобы ты оставался здесь, в Петербурге?

Лермонтов подошел к столу, взял в руки присланную бумагу, посмотрел и снова положил ее обратно на стол.

- Нет, бабушка, боюсь, что не скажут. Надо снова собираться в дальнюю дорогу…

- Бог смиловистится! Все будет хорошо. Ты сегодня вечером зван?

- Зван, но я хочу сегодня побыть одному.

- Отдохни, Мишенька. Я сейчас велю приготовить тебе ужин.

С этими словами бабушка вышла хлопотать, а Михаил Юрьевич сел за стол, на котором светила свеча, лежала стопка бумаги, перья и чернильница. Лермонтов взял в руку перо…

*И скучно и грустно! - и некому руку подать*

 *В минуту душевной невзгоды...*

*Желанья... что пользы напрасно и вечно желать?*

 *А годы проходят - все лучшие годы!*

*Любить - но кого же? - на время не стоит труда,*

 *А вечно любить невозможно...*

*В себя ли заглянешь? - там прошлого нет и следа,*

 *И радость, и муки, и все там ничтожно.*

*Что страсти? - ведь рано иль поздно их сладкий недуг*

 *Исчезнет при слове рассудка,*

*И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг -*

 *Такая пустая и глупая шутка!*

- Какая тоска! – негромко произнес Лермонтов.

На следующее день Лермонтов отправился в военное ведомство. В приемной дежурного генерала Главного штаба графа Клейнмихеля Лермонтову предложили пройти в его кабинет. Кабинет оказался обширной комнатой, уставленной старинной мебелью с огромным портретом царя Николая I. В кресле с высокой спинкой сидел сам Клейнмихель, довольно пожилой человек.

При входе Лермонтова он поднял голову и, глядя куда то в сторону, медленно проговорил слегка скрипучим голосом:

- Господин Лермонтов, мне поручено довести до вашего сведения высочайшую волю государя императора, из которой следует, что вы обязаны покинуть Петербург в течение 48 часов и отправится в расположение вашего Тенгинского полка. Одновременно их императорское величество изволил заметить, что отпуск вам был предоставлен не для посещения балов и театров, а для свидания с вашей престарелой бабушкой. В вашем положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно, когда на них бывает Двор. Подорожную и прогонные получите в канцелярии. Не смею вас более задерживать.

- Ваше превосходительство, - обратился Лермонтов, - значит ли это, что поданное ходатайство на высочайшее имя о продлении моего пребывания в столице отклонено?

- Вам продлили отпуск на две недели. Он, как вам известно, подошел к концу. У меня нет никаких других сведений, кроме тех, которые вам сказаны. Не смею вас больше задерживать.

Проговорив это, генерал уткнулся в лежащие на столе бумаги.

Лермонтов вышел от Клейнмихеля взбешенным. Его вывели из равновесия и само приказание убраться из столицы в 48 часов, и тот тон, которым с ним разговаривали.

- Он говорил со мной так, как будто я его слуга, выставив мня за дверь… Вот они – кабинетные вельможи, для которых судьба человека ничего не значит! И что ему какой-то офицеришка!.. - зло высказался Михаил Юрьевич.

Сев в экипаж, он приказал ехать к Краевскому. Не застав его дома, повернул к Карамзиным.

Сидя в экипаже, он с некоторым удивлением подумал о выросшей своей популярности. Недавно вышедшую книжку стихов, куда он включил всего двадцать восемь произведений, в Москве покупали чуть не с боя. В Петербурге всё выглядело сдержаннее, но литературные круги встретили его уже как бесспорно своего. Белинский смотрел на него влюбленно, Краевский с жадностью хватал любой черновик, Карамзины обижались, если он пропускал хотя бы один их приём.

У Карамзиных собралась целая компания. Здесь был и Краевский. Все с радостью встретили Лермонтова. Вечер у Карамзиных разгорался, как тёплый огонёк в печи. На столе шумел сменяемый самовар.

Пётр Андреевич Вяземский задал всем тему, утверждая, что стихи надобно читать, сообразуясь с логикой и смыслом, а не монотонной скороговоркой, как проборматывал их Пушкин.

Дух Пушкина витал в этих стенах, и на него поминутно оборачивались.

- Вот и нет! Пушкин читал как истинный поэт, - пылко возразила Евдокия Ростопчина, считавшая себя ученицей Пушкина с тех пор, как тот одобрил стихотворные опыты восемнадцатилетней девушки. Пушкину даже пришлось утихомиривать тогда её деда Пашкова, пришедшего в негодование от неприличия самого факта: стихи дворянской девицы, его внучки, напечатаны в альманахе «Северные цветы»!

- Обыденность интонаций принижает стих, - продолжала Евдокия Петровна. - Без ритма он не может существовать. Поэт мыслит не только словами, но и мелодией. Вы согласны? - обратилась она к присутствующим поэтам. Владимир Фёдорович Одоевский кивнул со своим обычным сомнамбулическим видом. Мятлев неопределенно пожал плечами. Лермонтов задумался.

- Нельзя по старинке только выпевать стих, - с досадой сказал он. - У стиха есть мускулы, он способен напрячься. Страсть чувства передается острием рифмы. О, я положительно несчастен, когда образ, найденный в кипении, вдруг застывает и давит на меня, как надгробие. Стихи могут жить только в движении, в изменчивости обличий. Люблю сжимать фразу, вбивать её в быстрые рифмы, но, когда нужно для мысли, вывожу ее за пределы одной-двух строк, растягиваю в ленту. Мысль должна жить и пульсировать. Вот вам моё кредо, милая Авдотья Петровна!

- Вы немыслимый вольнодумец, Мишель! Ищете свободу даже от цезуры и ямба, - отозвалась Додо, скорее одобрительно, чем порицая.

Мятлев и Одоевский слушали их разговор с полным вниманием, сочувствуя Лермонтову, хотя его взгляды едва ли совпадали с архаическими поисками Одоевского или с полными юмора поэмами Мятлева.

Пауза не ускользнула от острого внимания Софьи Карамзиной.

- Вот и прекрасно, - воскликнула она, торопясь дать нужное направление возникшей заминке. - Каждый станет читать свои стихи, а мы послушаем и решим, кто более прав. Согласны?

Гости задвигались и заулыбались. Чтение стихов было обычным на этих вечерах, где редко танцевали, И, вопреки принятому правилу, никогда не играли в карты.

- Вы начнёте, князь?

Пётр Андреевич Вяземский слегка поклонился и поправил очки. Он произносил стихи, как слова в разговоре, сопровождая их обычной для него улыбочкой, вкладывая двойственный смысл в каждое выражение:

*Сердца томная забота,*

*Безымянная печаль!*

*Я невольно жду чего-то,*

*Мне чего-то смутно жаль.*

*Не хочу и не умею*

*Я развлечь свою хандру:*

*Я хандру свою лелею,*

*Как любви своей сестру.*

Стихи были старые; Петру Андреевичу писалось всё труднее и труднее с каждым годом. Но все сделали вид, что слышат их в первый раз.

Мятлев, умница, дипломат, насмешник, читал театрально, простирая вперед руки, играя лицом и тоном. Он по-актёрски нажимал на те слова, которые казались ему особенно трогательными:

*Как хороши, как свежи были розы*

*В моём саду. Как взор прельщали мой!*

*Как я молил весенние морозы*

*Не трогать их холодною рукой...*

Настал черёд Лермонтова. Он произносил стихи сдержанно и отчётливо, без драматических ударений, выдерживая ритм. Его голос звучал то глуховато, то звенел баритональным металлическим гудением, словно издалека ударяли в колокол. Глаза его, не мигая, смотрели на яркий огонь стеариновых свечей:

*Люблю отчизну я, но странною любовью!*

*Не победит ее рассудок мой.*

*Ни слава, купленная кровью,*

*Ни полный гордого доверия покой,*

*Ни темной старины заветные преданья*

*Не шевелят во мне отрадного мечтанья,*

*Но я люблю - за что, не знаю сам -*

*Ее степей холодное молчанье,*

*Ее лесов безбрежных колыханье,*

*Разливы рек ее, подобные морям;*

*Проселочным путем люблю скакать в телеге*

*И, взором медленным пронзая ночи тень,*

*Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,*

*Дрожащие огни печальных деревень.*

*Люблю дымок спаленной жнивы,*

*В степи ночующий обоз*

*И на холме средь желтой нивы*

*Чету белеющих берез.*

*С отрадой, многим незнакомой,*

*Я вижу полное гумно,*

*Избу, покрытую соломой,*

*С резными ставнями окно;*

*И в праздник, вечером росистым,*

*Смотреть до полночи готов*

*На пляску с топаньем и свистом*

*Под говор пьяных мужичков.*

«Какое львиное трагическое лицо!» - пронеслось в уме Одоевского, пока его уши жадно впитывали своеобразную мелодику лермонтовской речи.

«Боек не по возрасту и не по роду. В чертах что-то восточное. А вовсе не шотландское, как ему угодно вообразить!» - Князь Пётр Андреевич Вяземский тем сильнее раздражался, чем властнее брали его в плен, помимо воли, лермонтовские стихи.

«Ай да офицерик! Колышет строфу, как на волнах, и я качаюсь вместе... слушал бы да слушал...» - безгрешно восхищался Мятлев.

«Конечно, он умнее их всех здесь, - думала Софи Карамзина. - Пушкин, бывало, забавлял меня и радовал, но от этого человека ознобно, как на морозе. Что готовит ему судьба? Боже! Защити и помилуй...»

Лермонтов закончил чтение, но никто не шевелился. Молчание прервал Краевский:

- Михаил Юрьевич, вы обязаны отдать мне это стихотворение для печати. Экая дьявольская сила в нем заключена! Такому, пожалуй, и французы бы позавидовали…

- Любезный Андрей Александрович, хочу заметить, мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, именно там, на Востоке, тайник богатых откровений…

- Именно туда скоро я и отправляюсь. - После некоторой паузы продолжил Лермонтов. - Только что Клейнмихель объявил мне монаршую волю - в 48 часов отправиться на Кавказ в свой полк. Я знаю, это конец! Ворожея у Пяти углов сказывала, что в Петербурге мне больше не бывать, а отставка будет такая, после которой уже ничего не попрошу...

Одоевский в безотчётном предчувствии подошел к окну, взглянул на гнилые сумерки петербургской весны.

- Душно у нас и темно, - сказал он.

- Право? А я не чувствую, - рассеянно отозвался Лермонтов. - Мне хорошо здесь.

- Отчего же хорошо, мон шер? - не то с досадой, не то с удивлением сказал князь. - Всё пятимся назад. Что было обнадёживающего, светлого, вспять течёт, как река.

- Реки вспять не идут, - сказал Лермонтов с мягкостью и терпением. - Реки к крутизне стремятся. Я насмотрелся на кавказские стремнины: лишь упав с высоты, разбившись на тысячу струй, река и собирает себя воедино, вольно течёт к морю.

- Так ты веришь в ясную будущность?

- Разумеется. - Лермонтов тоже посмотрел на густеющий туман, на желтоватые капли испарины в стёклах. - Но не для себя. Мне-то головы не сносить. Царь - животное плотоядное.

- Бог знает, что ты говоришь! - расстроенно вскричал Одоевский. - Грешно, брат.

- Прости, не стану.

Владимир Фёдорович с поспешностью начал рыться в своих карманах. Из одного из них добыл песочного цвета дорожный альбом на застёжке. Макнул в чернильницу перо, сделал надпись широким почерком: «Поэту Лермонтову, даётся сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне её сам и всю исписанную, к. В. Одоевский. 1841. Апреля 13-е. С. Пбург»...

- Возьми, Михаил Юрьевич, и исполни то, что здесь мной написано. Теперь попробуй, ослушайся!

Они обнялись.

- Михаил Юрьевич, вы давно мне обещали написать в альбом, - подойдя к ним, обратилась София Карамзина, - вот и альбом.

- Обещание даме надо выполнять, Мишель, - улыбаясь, сказал Одоевский.

- Непременно! Дайте только возможность мне где-то посидеть в уголочке.

- Вот здесь вам будем удобно, - сказала Софья Михайловна, усаживая Лермонтова за стол в дальнем углу залы.

- Спасибо! Конечно, Софи...

Примерно через четверть часа Лермонтов вернул Карамзиной альбом с вписанным стихом.

*Любил и я в былые годы,*

*В невинности души моей,*

*И бури шумные природы,*

*И бури тайные страстей.*

*Но красоты их безобразной*

*Я скоро таинство постиг,*

*И мне наскучил их несвязный*

*И оглушающий язык.*

*Люблю я больше год от году,*

*Желаньям мирным дав простор,*

*Поутру ясную погоду,*

*Под вечер тихий разговор,*

*Люблю я парадоксы ваши*

*И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,*

*Смирновой штучку, фарсу Саши*

*И Ишки Мятлева стихи...*

- Какая прелесть, Михаил Юрьевич, - с восхищеньем воскликнула Софья Николаевна. Спасибо! Спасибо! Спасибо!.. Михаил Юрьевич, как вы посмотрите, если здесь у меня устроить вечеринку, чтобы проводить вас?

- Право, мне не хотелось бы вас затруднять…

- Нас это вовсе не затруднит, - ответила Карамзина.

- Михаил Юрьевич, Мишель, соглашайся, - сказали в разнобой все присутствовавшие.

- Друзья, я принимаю ваше предложение, и прошу всех прийти. Мне будет очень приятно провести с вами последний вечер.

В последний день отпуска, вечером провожали на Кавказ Лермонтова. Салон Карамзиных. За окнами - Летний сад в туманной весенней зелени. Сумерки. Блещущая закатом Нева.

За круглым чайным столом непринужденное и веселое общество. Софья Карамзина, Мусина-Пушкина, Вяземский, Александр Тургенев, Лермонтов, другие гости. Екатерина Карамзина разливает чай.

- Самое интересное зрелище, какое мне привелось видеть в жизни, – это обед у Жуковского, когда Крылов ел поросенка и от удовольствия мог только шевелить пальцами. Потом его отвели в кабинет, и он проспал на диване до утра. Проснувшись, рассказывал, что снилось ему, будто государь, Николай Павлович, стоит у стола, трет хрен с сахаром и плачет крупными слезами, - со смехом рассказывает Вяземский.

Все смеются, кроме Лермонтова и Мусиной-Пушкиной. Мусина-Пушкина только слабо улыбается. Лермонтов гладит мохнатого пса и незаметно дает ему тартинку. Мусина-Пушкина грозит Лермонтову пальцем.

- Страшен сон, да милостив бог, - реагирует на сказанное Екатерина Карамзина, мать Софьи.

- А вы слышали новость, господа? На Булгарина в Нарве напали разбойники. Окунули его с головой в реку, и в кармане у него раскис очередной пасквиль на русскую литературу, - подлил масла в огонь юмора Тургенев.

Снова все смеются, кроме Лермонтова. Мусина-Пушкина тревожно взглядывает на него. Лермонтов сидит сгорбившись, смотрит за окно, где в густых сумерках пылает странным желтоватым огнем зелень Летнего сада.

- Ничем не удается развеселить его, - почти шепотом говорит Софья Карамзина Вяземскому.

- Вы видите, София Николаевна, мы уж с Тургеневым стараемся вовсю, как два старых рысака, но ничто не помогает, тоже шепотом отвечает ей Вяземский.

- А Мятлев будет сегодня? – спросил Тургенев.

- Обещался прийти, - ответила Екатерина Карамзина.

- Вы знаете, какую дерзкую штуку он на днях отколол на обеде у графини Воронцовой? Он сидел с молоденькой маркизой Траверсе. Маркизу преследовал поклонник, адъютант наследника, – он поднес ей огромный букет. Маркиза имела неосторожность пожаловаться Мятлеву на назойливость поклонника. Что же делает Мятлев? Он требует у лакея блюдо, берет букет, крошит ножом цветы и листья на мельчайшие кусочки, поливает маслом, солит, перчит и приказывает лакею отнести этот салат из цветов поклоннику в качестве угощения, присланного маркизой, смеясь рассказал Тургенев.

- Сразу узнаю Ишку Мятлева! – сказала Софья Карамзина.

- Да, это очень забавно, - говорит Лермонтов, не улыбаясь, думая о чем-то своем и гладя собаку.

После недолгого молчания:

- Софи, вы знаете, что сегодня я уеду на Кавказ прямо отсюда? Я распорядился, чтобы лошадей подали к вашему крыльцу. С бабушкой я уже попрощался. Бедная моя бабушка… Сколько было слез…

- Это очень хорошо, по-дружески, Мишель, спасибо, - ответила Софья Карамзина.

- Наталия Николаевна Пушкина! – объявил слуга в дверях.

Мужчины встали. Екатерина и Софья Карамзины торопливо пошли к дверям. Вошла Наталия Пушкина.

- Какая редкая гостья! – воскликнула Екатерина Карамзина.

- У меня столько забот с детьми, что я с трудом освобождаю для себя только два вечера в неделю, - здороваясь со всеми, сказала Пушкина.

Лермонтов последним поцеловал у нее руку.

- Я слышала, что вас снова усылают на Кавказ, Михаил Юрьевич.

Лермонтов поклонился.

- Отчасти вы виновник того, что я приехала сюда. Я хотела проститься с вами.

- Вы слишком добры. Чем я заслужил такое расположение? – с некоторым удивлением ответил Лермонтов.

- Я знаю, что вы в душе осуждаете меня из-за мужа, и, поверьте, я благодарна вам за то, что вы со мною никогда не лицемерили.

- Если это заслуживает благодарности, то извольте, я ее принимаю.

- Значит, мир? Мне бы не хотелось, чтобы что-то оставалось меду нами, мешающее нашим добрым отношениям... Я вам очень благодарна за ваши стихи, посвященные Александру...

- Моя любовь к Александру Сергеевичу так велика, что я переношу ее на всех людей, которые были ему дороги.

Он наклонился, поцеловал руку Натальи Николаевны.

Наталья Николаевна, давно отвыкшая от особого мира поэзии, втянувшаяся в докучный вдовий быт с болезнями детей и необходимостью экономить на шпильках, вдруг под устремленными на нее черными глазами поручика начала освобождаться из невидимых пелен, дышать глубже и вольнее. Она просыпалась, хорошела на глазах, всё её существо, как встарь, излучало простодушную прелесть - на неё смотрел поэт!

- Вы ещё будете счастливы, - сказала она ему благодарно.

Он покачал головой.

- Человек счастлив, если поступает, как ему хочется. Я никогда этого не мог.

- Почему? - Её большие близорукие глаза смотрели с ласковой укоризной.

- Моя жизнь слишком тесно связана с другими. Сделать по-своему значило бы оскорбить, причинить боль любящим меня, неповинным.

Она прошептала, потупившись:

- Неповинным?..

Он ответил не слову, а тоске её сердца:

- Все неповинны, вот в чём трудность. Некому мстить, и с кого взыскивать?

- Многое начинаешь понимать и ценить, только потеряв, - сказала она, поборов близкие слёзы. - Это ужасно.

- Нет, это благодетельно! Душа растёт страданием и разлукой! Счастливые дни бесплодны. Вернее, они начальный посев. Но подняться ростку помогает лишь наше позднее понимание.

- Я богата этим пониманием, мсье Лермонтов. Но что с того? Он об этом никогда не узнает!

Лермонтов близко заглянул в её глаза с влажным блеском.

- А если он знал всегда? Если его доверие было безгранично, как и любовь к вам?

Они молчали несколько минут.

- Бог воздаст вам за утешение, - сказала, наконец, она, откидываясь с глубоким вздохом. И вдруг прибавила непоследовательно, с живой, ясной улыбкой:

- Я очень люблю вашего «Демона». Почему-то ощущаю себя рядом с ним, а не с Тамарой. Особенно когда он так радостно парит над миром. Я никогда не видала Кавказа... Всегда завидовала Александру, что он так много путешествовал.

Движение её мысли сделало новый поворот. Черты стали строже, словно тень юности окончательно покинула эту женщину - вдову и мать.

- Смолоду мы все безрассудны: полагаем смысл жизни в поисках счастья.

- А в чем этот смысл? - спросил Лермонтов с напряженным вниманием. Казалось, от её слов зависит: упрочится или оборвется возникшая между ними связь. Она была чрезвычайно важна для обоих.

- Думаю... нет, знаю! Назначение в том, чтобы наилучшим образом исполнить свой долг.

- В чём же, в чем он? - добивался Лермонтов. Не для себя он ждал ответа. Да, пожалуй, и не для неё. Неужели для мёртвого Пушкина? Чтобы разрешить вечную загадку поэта? Понять предназначение поэта?

Тень беспомощности промелькнула по гладкому лбу Натали. Она не могла объяснить.

- Это знает о себе каждый, - сказала она просто.

- Вы правы, - отозвался Лермонтов, спустя несколько секунд, словно смерив мысленным взглядом безмерные глубины и возвращаясь из них. - Главное, не отступать от самого себя. Довериться течению своей судьбы.

- И божьей милости,- добавила она.

После некоторой паузы, Лермонтов вдруг снова продолжил:

- Когда я только подумаю, как мы часто здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собою вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не слишком самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным.

- Прощать мне вам нечего, - ответила Наталья Николаевна, - но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.

Вдруг она осознала, в ее жизни случалось, что люди поддавались ей, но она знала, что это было из-за ее красоты. На этот раз была победа сердца, и этим она была дорога для нее. Ей было радостно подумать, что он не унесет о ней дурного мнения.

Лермонтов тоже в этот момент осознал, что, будучи мрачно предубеждённым против неё - издали, умозрительно, понаслышке, - оказавшись вблизи и заговорив с нею, он тотчас подпал под очарование пушкинского вымысла о ней. С изумленной умиленностью поверил, почти убедился, - Пушкин не ошибался! Чистейшая прелесть. Образец её.

На этом кончился их разговор. Он подал ей руку братским движением. Она поднялась с кресел и возвратилась к остальному обществу.

Весь конец вечера Лермонтов был спокоен и умиротворён. Вдова Пушкина оставила в нём чувство прекрасного и безнадежного.

Лермонтов, подходя к группе гостей:

- У меня весь день такое чувство, будто я попал в железное кольцо, оно все время сжимается и вот-вот меня раздавит.

- Забудьте эти нервические мысли. Когда вы вернетесь с Кавказа… - пытался отвлечь Лермонтова Тургенев.

- Я не вернусь. В этом-то я единственно уверен, - перебил его Михаил Лермонтов.

- Не надо, Лермонтов. Этак вы заставите всех нас разрыдаться, - промолвила Мусина-Пушкина с каким-то нервным смехом.

- Я хочу, Мишель, чтобы вы увезли из Петербурга светлую память, - сказала Софья Карамзина.

Она садится к роялю, играет, а потом напевает:

*Кубок янтарный полон давно,*

*Пеной угарной блещет вино…*

- Я прикажу подать вина. Сегодня у нас особенный вечер, - выходя из зала, сказала Екатерина Карамзина.

Софья внезапно обрывает игру и встает.

- Вы весь вечер молчите, Мишель. Прочтите нам что-нибудь новое, - обратилась она к Лермонтову.

- Новое? Извольте!

Облокотившись на стол и не меняя позы, он начал читать просто и тихо, глядя на Мусину-Пушкину.

*Не смейся над моей пророческой тоскою.*

*Я знал, удар судьбы меня не обойдет.*

*Я знал, что голова, любимая тобою,*

*С твоей груди на плаху перейдет.*

*Я говорил тебе: ни счастия, ни славы*

*Мне в мире не найти, – настанет час кровавый,*

*И я паду, и хитрая вражда*

*С улыбкой очернит мой недоцветший гений,*

*И я погибну без следа*

*Своих надежд, своих мучений.*

*Но я без страха жду довременный конец.*

*Давно пора мне мир увидеть новый…*

*Пускай толпа растопчет мой венец:*

*Венец певца, венец терновый…*

*Пускай! Я им не дорожил…*

Все слушают потрясенные. В конце чтения Лермонтов отворачивается и замолкает. Когда он читал, вошла Екатерина Карамзина и остановилась у стены. Лакей с бокалами на подносе тоже замирает, и только изредка слышен звон хрусталя.

- Какая мрачная сила! Превосходно! – прошептал Вяземский.

- Должно быть, тяжело носить в груди такое пламя, - вслед за ним проговорил Тургенев.

- Мишель, неужто вы не могли прочесть что-нибудь светлое? – со слезой в голосе сказала Софья Карамзина.

- Этого не должно быть, Лермонтов! Вы поклялись беречь себя. Нет, нет. Я не хочу даже думать об этом, - почти воплем прозвучал голос Эмилии.

Вяземский берет бокал, чокается с Лермонтовым:

- Выпьем за неизбежную победу счастливых дней над минутами душевной усталости.

- Возвращайтесь невредимым, мсье Лермонтов, - тихо промолвила Пушкина, прикасаясь губами к вину.

Появился в дверях слуга:

- За вами приехал господин Шан-Гирей, сударь.

- Ну вот… Как быстро, однако, пролетело время. Я ничего не успел сказать. Это приехал Аким. Мы условились, что он отвезет меня на станцию.

- Погодите, Михаил Юрьевич. Мы простимся по нашему старому семейному обычаю, - сказала Екатерина Карамзина. - Человек, принеси из прихожей шинель, фуражку и саблю Михаила Юрьевича. Михаил Юрьевич, вы пристегните саблю, наденьте шинель, и после этого мы простимся.

- Чудесно, - согласился Лермонтов.

Слуга принес шинель, саблю и фуражку, помог Лермонтову надеть шинель.

- Мы сядем, помолчим, а потом все, кроме Михаила Юрьевича, уйдут в соседнюю комнату и будут по очереди входить, прощаться с ним, выходить в прихожую и там дожидаться, когда окончится прощанье.

- Какой удивительный обычай! – удивленно сказала Наталья Пушкина.

- Его придумал еще мой дед. Он говорил, что каждый из близких людей должен побыть хотя мгновение наедине с тем, кто уезжает в далекую дорогу, - объяснила Екатерина Карамзина.

- Превосходный обычай! Я непременно введу его в своем беспорядочном семействе, - пообещал себе Вяземский.

- Но это слишком торжественно. Это похоже на исповедь, - смеясь, сказал Лермонтов.

- Садитесь! - сказала Софья Карамзина.

Все сели. Молчание. Мусина-Пушкина сидела, низко опустив голову. Слышно, как за окнами лошади нетерпеливо звенят бубенцами.

- А теперь – пойдемте, - приказала Екатерина Карамзина.

Все, смеясь, ушли. Лермонтов остался на мгновение один.

Вошла Екатерина Карамзина.

- Ну вот, Мишель. Прощайте. О бабушке не беспокойтесь, – мы будем навещать ее и оберегать от огорчений.

- Я вам благодарен бесконечно.

Он целует руку Екатерине Карамзиной.

Карамзина выходит. Входит Тургенев. Он молча целуется с Лермонтовым и идет к двери. В дверях на минуту останавливается:

- Если вы действительно любите всех, кто связан с Пушкиным, как я имел нескромность подслушать, то любите себя и не рискуйте понапрасну.

Входит Софья Карамзина.

- Будьте покойны, Мишель… Она войдет последней.

Лермонтов целует ей руку:

- Вы совершенно тронули меня.

Софья целует Лермонтова в лоб и выходит.

Входит Вяземский.

Вяземский крепко целует Лермонтова.

- Ей-богу, этот обычай прелестен! Я заставлю всех моих семейных каждый раз провожать меня таким вот манером. И напоследок пропишу каждому такую ижицу! Смеется. Ну, дай бог час, как говорят ямщики. Вспоминайте. А мы вас будем ждать.

Вяземский уходит. Входит Пушкина.

- Ну что ж, исполним этот странный обычай и попрощаемся.

Подает Лермонтову руку.

- Я так рассеянна, я хотела подарить вам маленький нагрудный крестик, но забыла его дома. Такая досада!

- Достаточно вашего желания, сударыня. Прощайте!

Целует ей руку.

Пушкина уходит. Лермонтов подошел к дверям. В них появляется Мусина-Пушкина. Она кладет Лермонтову руки на плечи. Судорожно гладит его шинель, потом подымает глаза, полные слез, притягивает к себе голову Лермонтова и целует его в глаза.

Мусина-Пушкина прячет голову на груди у Лермонтова и говорит шепотом:

- Как это страшно, Лермонтов. Но я не променяю эту любовь ни на что в мире.

Лермонтов поднимает ее заплаканное лицо, одно мгновение смотрит на Мусину-Пушкину, потом целует ее глаза, лоб, губы.

Она крестит Лермонтова.

- Теперь идите! – прошептала она.

Лермонтов быстро выходит. В прихожей слышен гул голосов, прощальные возгласы. Мусина-Пушкина делает движение к дверям прихожей, но опускается на кресло и сидит, закрыв лицо руками.

Звон бубенцов. Мусина-Пушкина вскакивает, подходит к окну и плачет, глядя на улицу. Вошла Софья Карамзина. Она обняла Мусину-Пушкину за плечи и увела ее в соседнюю комнату.

- Сейчас сюда войдут… Пойдемте ко мне, - сказала ей Софья...

Утром, едва развиднелось, двоюродный брат Лермонтова, Аким Шан-Гирей, проводил Михаила Юрьевича до почтамта, от которого закладывались кареты в Москву. Вместе с Лермонтовым ехал и его слуга – крестьянин из Тархан. Карету подали, вещи загрузили, подорожную отметили. Вся поклажа состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит недописанными стихами, заметками в прозе, планами будущих романов… Лермонтов надеялся, что ему удастся найти время серьезно потрудиться в перерывах между экспедициями, а может, чем черт не шутит, бабушка добьется в Петербурге ему отставки. Дай-то бог!..

Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал Акиму различные поручения к Жуковскому, Краевскому, Соллогубу…, Но тот, расстроенный отъездом друга, ничего не слышал. Когда Лермонтов сел в карету, Аким немного опомнился, и почти уже во след карете сказал ему:

- Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил. Если что нужно будет, напиши, я все исполню.

- Какой ты еще дитя, - ответил Михаил Юрьевич. – Ничего, все перемелется – мука будет. Прощай, поцелуй ручку у бабушки и будь здоров…

И вот уже позади застава. Начинается настоящая Россия с ее непролазной грязью, разбитыми по весне дорогами, печальными селами и деревнями с покосившимися избенками… Лермонтов, устроившись поудобней в уголке кареты, закрыл глаза и скоро уснул под звон колокольчиков и заунывную песнь ямщика.

А вслед ему и втайне от него на Кавказ полетело предписание Николая I «… дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку». Царь желал, чтобы опальный поэт был постоянно под угрозой чеченских пуль, которые могли освободить, успокоить его головную боль от очередного, после гибели Пушкина, возбудителя спокойствия. А если останется жив, то пусть торчит подальше от столицы.

На одной из станций, пока меняли лошадей, Лермонтов вышел с коляски, чтобы немного размять затекшие ноги. День угасал; лиловые облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи. В храме, стоявшем на площади, звонили к вечерни. У ворот храма несколько нищих и увечных ожидали милости богомольцев; они спорили, бранились, делили медные деньги.

 «Это люди, отвергнутые природой и обществом. Только в этом случае общество согласно бывает с природой. Эти люди, погибшие от недостатка или излишества надежд, олицетворенные упреки провидению; создания, лишенные права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления. Их одежды - изображения их душ: черные, изорванные...» - грустно подумалось Лермонтову, наблюдая происходящее у ворот храма.

- Христа ради, барин... Христа ради копеечку! - раздался слабый голос, и кто-то коснулся рукава его одежды.

Перед ним стоял нищий с протянутой рукой, наверное, слепой, тощее тело которого едва прикрывала ветхая и грязная одежда.

Лермонтов достал монету и положил ее в руку старца.

- Спасибо, тебе, добрый человек. Бог тебе воздаст. Ты добрый… А ведь мне уже не единожды вместо хлеба в руку клали камень… Бог их простит… - с покорностью в голосе произнес нищий.

Лермонтов в глубокой задумчивости вернулся к карете. Коней уже заменили. Он сел в карету, и она двинулась дальше. Михаил Юрьевич сидел и в уме его звучали слова нищего: «А ведь мне уже не единожды в руку клали камень…» В голове мысли стали складываться в стихотворение:

*У врат обители святой*

*Стоял просящий подаянья*

*Бедняк иссохший, чуть живой*

*От глада, жажды и страданья.*

*Куска лишь хлеба он просил,*

*И взор являл живую муку,*

*И кто-то камень положил*

*В его протянутую руку…*

Он вспомнил это стихотворение, написанное более десяти лет назад. Тогда тоже была церковь, и они ехали с бабушкой и детьми соседей в деревню на лето. Тогда тоже были нищие… Ах, как далеко то, почти детское, время, когда он со всем жаром юного сердца отдался чувству любви к красивой девочке Кате Сушковой. Юная кокетка отвергла его признания, но осталось это стихотворение, которое заканчивалось словами:

*Так я молил твоей любви*

*С слезами горькими, с тоскою;*

*Так чувства лучшие мои*

*Обмануты навек тобою!*

Лермонтов грустно улыбнулся...

1. **Глава вторая. Москва**

Только через трое суток, 17 апреля 1841 года в 7 часов пополудни, он приехал в Москву.

Здесь в Москве он остановился у Д.Г.Розена, своего однополчанина по Лейб-гвардейскому Гусарскому полку, в доме Костеровского в Староконюшенном переулке. Встреча друзей, обмен новостями Петербурга и Москвы, несмотря на утомительное путешествие Михаила Юрьевича, затянулись далеко за полночь…

В Москве Лермонтов встретился с друзьями и знакомыми. В первые дни он навестил Н.Н.Анненкова и его супругу Веру Ивановну, с которой Михаил Юрьевич был знаком ранее, и посвятил ей стихи.

19 апреля он спешит написать письмо бабушке, чтобы ее успокоить:

*«Милая бабушка! Жду с нетерпением письма от вас с каким-нибудь известием: я в Москве пробуду несколько дней, остановился у Дмитрия Григорьевича Розена; Алексей Аркадич Столыпин здесь еще; и едет послезавтра. Я здесь принят был обществом по обыкновению очень хорошо - и мне довольно весело; был вчера у Николая Николаевича Анненкова и завтра у него обедаю; он был со мною очень любезен; - вот все, что я могу вам сказать про мою здешнюю жизнь; еще прибавлю, что я от здешнего воздуха потолстел в два дни; решительно Петербург мне вреден; может быть, также я поздоровел оттого, что всю дорогу пил горькую воду, которая мне всегда очень полезна. Скажите, пожалуйста, от меня Екиму Шангирею, что я ему напишу перед отъездом отсюда и кое-что пришлю.*

*Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы, и уверены что бог вас вознаградит за все печали. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь, покорный внук М. Лермонтов».*

На следующий день к Розенам зашел Ю.Ф.Самарин – публицист, философ, славянофил, с которым Михаил Юрьевич познакомился еще три года назад. Они с первой встречи прониклись взаимной симпатией. На этот раз Самарин заметил перемены в характере поэта. Его в высшей степени артистическая натура подавлялась тяжелым, проницательным взглядом, какой-то индифферентностью в восприятии собеседника, которая часто сменялась простотой обращения и детской откровенностью.

Воспоминания о Кавказе оживили их беседу. Лермонтов рассказывал о стычках с горцами, в которых он участвовал, особенно о той, в которой был ранен его друг Трубецкой. Голос его вдруг задрожал, и он готов был прослезиться…

После некоторой паузы беседа продолжилась. Самарин начал говорить о положении в обществе, о страдании людей...

- Хуже всего не то, что известное количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого… Но горе будет, когда они это осознают, - медленно произнес Лермонтов. - Я много думал об этом, будучи еще юношей, - продолжил он после короткой паузы, - мои размышления отразились в стихотворении:

*Настанет год, России черный год,*

*Когда царей корона упадет;*

*Забудет чернь к ним прежнюю любовь,*

*И пища многих будет смерть и кровь;*

*Когда детей, когда невинных жен*

*Низвергнутый не защитит закон;*

*Когда чума от смрадных, мертвых тел*

*Начнет бродить среди печальных сел,*

*Чтобы платком из хижин вызывать,*

*И станет глад сей бедный край терзать;*

*И зарево окрасит волны рек:*

*В тот день явится мощный человек,*

*И ты его узнаешь — и поймешь,*

*Зачем в руке его булатный нож;*

*И горе для тебя!- твой плач, твой стон*

*Ему тогда покажется смешон;*

*И будет все ужасно, мрачно в нем,*

*Как плащ его с возвышенным челом.*

- Какое мощное и мрачное предсказание, Михаил Юрьевич. В нем чувствуется нечеловеческая сила и мощь прозрения. Неужто такое может быть у нас в России? – каким-то изменившимся голосом проговорил Самарин.

- Европа нам показала, что такое вполне может быть. Но русский народ терпелив… А примеры ведь есть и у нас. Вспомните, Юрий Федорович, пугачевщину… декабрь 1825 года… - А знаешь, Самарин, я многое задумал. Хочу издавать свой большой журнал. Это будет журнал, наполненный настоящей литературой, наполненный самой жизнью… Сегодня его так не хватает для нашего сонного общества…

Они еще долго говорили, в том числе и о литературных новостях, об ожидаемом втором издании «Героя нашего времени», о невероятном успехе у читателей Москвы вышедшей недавно книги стихов Лермонтова. Прощаясь, Михаил Юрьевич попросил Самарина передать в журнал «Москвитянин» свое стихотворение «Спор».

*Как-то раз перед толпою*

*Соплеменных гор*

*У Казбека с Шат-горою 1*

*Был великий спор.*

 *«Берегись! - сказал Казбеку*

*Седовласый Шат, -*

*Покорился человеку*

*Ты недаром, брат!*

*Он настроит дымных келий*

*По уступам гор;*

*В глубине твоих ущелий*

*Загремит топор;*

*И железная лопата*

*В каменную грудь,*

*Добывая медь и злато,*

*Врежет страшный путь…*

Это стихотворение было особым в его творчестве, открывало в нем новое направление. Оно отличалось многоплановостью общественно-исторических и философских исканий Лермонтова, поднимало обширный круг вопросов: предназначения России, отношений Востока и Запада, цивилизации и природы. Россия предстает в нем живой, активной силой, противодействующей «дряхлому» Востоку, погруженному в многовековой сон.

Они договорились встретиться у Самарина вечером.

- Михаил Юрьевич, вечером у меня обещалась быть Катерина Потапова, будут Голицын, Зубов…

- Ты меня уже соблазнил Потаповой, говорят, она скоро выходит замуж… Почему-то все хорошенькие женщины становятся чьими-то женами.

Самарин рассмеялся.

- Не переживай, Михаил Юрьевич, у тебя еще все впереди.

- Ты меня успокоил, обязательно вечером буду у тебя…

Но Михаил Юрьевич в тот вечер не пошел к Самарину. Он послал слугу предупредить Самарина, что обстоятельства не позволяют быть у него.

Лермонтову стало известно, что в Москве находиться княгиня Мария Щербатова, женщина, которую он боготворил и которая отвечала ему взаимностью. Защищая ее честь, он дрался на дуэли с де Барантом, сыном французского посланника. За эту дуэль царь и сослал его на Кавказ.

«Я должен ее увидеть!» С этой мыслью он подошел к дому, где остановилась Щербатова. Войдя в дом, он попросил доложить о себе, и сразу же услышал ее голос:

- Проси!

- Пожалуйте! – сказал слуга.

Лермонтов почти вбежал в комнату. Щербатова стояла у стола, и глаза ее наполнялись слезами…

- Миша! - вырвался ее радостный почти крик.

- Машенька, как я рад, - горячо ответил Лермонтов, обнимая ее за плечи и целуя ее руки, глаза и губы. - Как я счастлив вновь видеть тебя! Я искал тебя в Петербурге, а нашел в Москве… Я все знаю, все твои несчастья и горечи, которые свалились на эти прекрасные плечи… Мне в Петербурге все рассказали, … и о твоих хлопотах по разделу имущества… Я тебя очень люблю, и никогда не переставал любить. И даже в самые трудные и опасные минуты на Кавказе я думал о тебе, я видел твои вот эти синие глаза, я мысленно обнимал тебя…

- И я, поверь, Мишель, безумно рада прижаться вновь к твоей груди и слышать, как бьется твое сердце. Все это время без тебя меня преследуют одни несчастья… Смерть моего сына, малютки… Это был наш сын, Мишель…

Щербатова закрыла лицо руками. Лермонтов помог ей сесть в кресло.

- Маша, что ты говоришь, это правда? Почему ты мне раньше об этом ничего не говорила?.. Боже мой, какая несправедливость!.. Я разделяю твое горе, но оно не должно омрачить радости нашей встречи... Улыбнись, я рядом, я люблю тебя, как и прежде…

- Миша, родной мой мальчик, я счастлива слышать эти слова. Они для меня, как чарующая музыка… Видишь я уже улыбаюсь… - почти шепотом сказала Щербатова, утирая слезы.

- Помнишь, Маша, ты просила меня молиться за тебя? Я исполнил твое желание. Я даже придумал эту молитву. Хочешь, я тебе ее прочитаю?

- Конечно, родной…

Лермонтов, став перед ней на колени, стал читать:

*В минуту жизни трудную,*

*Теснится ль в сердце грусть,*

*Одну молитву чудную*

*Твержу я наизусть.*

*Есть сила благодатная*

*В созвучьи слов живых,*

*И дышит непонятная,*

*Святая прелесть в них.*

*С души как бремя скатится,*

*Сомненье далеко —*

*И верится, и плачется,*

*И так легко, легко…*

Щербатова поцеловала его в голову и тоже стала перед ним на колени.

- Мишенька, я преклоняюсь перед твоим талантом, - сказала она, заглядывая ему в глаза. – Я тебе безмерно благодарна за твои чувства ко мне. Мне они очень дороги, дороги моей одинокой душе…

Они проговорили весь вечер. Было уже поздно.

- Миша, ты сегодня останешься у меня? - робко спросила Щербатова.

- Если позволишь… Ты же знаешь, быть рядом с тобой для меня огромное счастье…

Утром они пили чай, молчали и с грустью смотрели друг на друга.

- Тебе когда ехать? – спросила Щербатова.

- Еще один день в Москве. Сегодня я провожу на Кавказ Столыпина, вечером надо быть быть у Погодина… Потом уеду вслед за Монго... Надо уходить, Машенька. Спасибо тебе за все! Будем прощаться… Бог знает, свидимся ли когда еще… У меня плохие предчувствия… - грустно промолвил Лермонтов.

- Бог даст, все будет хорошо, и мы с тобой встретимся, друг мой…

Слезы снова появились на ресницах Щербатовой.

- Мне тоже предстоит поездка через несколько дней на Украину, - продолжила она, - может быть, я там многое забуду, развеюсь… Буду вспоминать нашу встречу…

Они обнялись, поцеловали друг другу глаза и губы. Лермонтов долгим взором заглянул в ее глаза, поцеловал руку, поклонился и ушел…

22 апреля Лермонтов провожал на почтовой станции Монго, который также направлялся на Кавказ в Нижегородский драгунский полк.

- Дорогой Монго, удачной тебе дороги. Приедешь в Тулу, не торопись, подожди меня, я тебя догоню, и поедем вместе. Вместе будет веселей.

- Ты только не задерживайся здесь. Конечно же, я тебя подожду, - сказал Столыпин, обнимая Лермонтова.

- Нет, Монго, долго я здесь не задержусь. Сегодня на вечер меня пригласил Погодин, и я ему дал согласие. Он пообещал познакомить меня с Гоголем. А завтра отправлюсь вслед за тобой.

Друзья на прощанье обнялись…

На вечере у Погодина Лермонтов молчал, сидел грустный, погрузившись в свои мысли. Гости пытались расшевелить его, вызвать на разговор, но он отделывался лишь короткими фразами.

- Михаил Юрьевич, - обратился к нему хозяин дома, - мы все ждем от тебя, что ты нас обрадуешь чем-нибудь новеньким.

Лермонтов, словно сбросив с себя груз мыслей, неожиданно ответил:

- Извольте, совсем свежее, и начал читать:

*Тучки небесные, вечные странники!*

*Степью лазурною, цепью жемчужною*

*Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники*

*С милого севера в сторону южную.*

*Кто же вас гонит: судьбы ли решение?*

*Зависть ли тайная? злоба ль открытая?*

*Или на вас тяготит преступление?*

*Или друзей клевета ядовитая?*

*Нет, вам наскучили нивы бесплодные...*

*Чужды вам страсти и чужды страдания;*

*Вечно холодные, вечно свободные,*

*Нет у вас родины, нет вам изгнания.*

Эти стихи он сочинил прямо здесь, только что.

Все были ими очарованы, все поздравляли его. Лермонтов кланялся, с лица его не сходила грустная улыбка...

Он давно и сам уже был вечным странником, а теперь еще и изгнанником. Государь император, изгоняя провинившегося офицера на Кавказ, не удержал издевки в письме императрице: «Счастливый путь, господин Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочистит себе голову…»

Здесь же он впервые встретился с Гоголем. Гости сидели в саду. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях.

Гоголь, подойдя и прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова - чуть сутуловатого офицера - и лениво сказал, что стихи его прекрасны, но Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на косьбе – тогда, пожалуй, вы сможете - и тогда ваши стихи будут еще лучше».

Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось.

Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя, его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленый груздь эту вилку вонзить.

Одно было ясно Лермонтову - Гоголь им пренебрегал. «Способный, конечно, юноша. Написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича, и сегодня отличился. Но мало ли кому удаются хорошие стихи! Писательство – это богослужение, тяжкая схима. А офицер этот никак не похож на схимника».

В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, прочел отрывок из «Мцыри»,

*Ты слушать исповедь мою*

*Сюда пришел, благодарю.*

*Все лучше перед кем-нибудь*

*Словами облегчить мне грудь;*

*Но людям я не делал зла,*

*И потому мои дела*

*Немного пользы вам узнать,—*

*А душу можно ль рассказать?*

*Я мало жил, и жил в плену.*

*Таких две жизни за одну,*

*Но только полную тревог,*

*Я променял бы, если б мог.*

*Я знал одной лишь думы власть,*

*Одну - но пламенную страсть:*

*Она, как червь, во мне жила,*

*Изгрызла душу и сожгла.*

*Она мечты мои звала*

*От келий душных и молитв*

*В тот чудный мир тревог и битв,*

*Где в тучах прячутся скалы,*

*Где люди вольны, как орлы.*

*Я эту страсть во тьме ночной*

*Вскормил слезами и тоской;*

*Ее пред небом и землей*

*Я ныне громко признаю*

*И о прощенье не молю...*

– Еще что-нибудь, – приказал Гоголь.

Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой:

*На светские цепи,*

*На блеск утомительный бала*

*Цветущие степи*

*Украйны она променяла…*

Гоголь слушал, сморщив лицо, ковырял носком сапога песок у себя под ногами, потом сказал с недоумением:

– Так вот вы, оказывается, какой! Пойдемте!

Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе. Обгорали на свечах зеленые прозрачные мошки. На бульваре лихо позванивала карусель.

В аллее Гоголь остановился и повторил:

*Как ночи Украйны,*

*В мерцании звезд незакатных,*

*Исполнены тайны*

*Слова ее уст ароматных…*

Он схватил Лермонтова за руку и зашептал:

– «Ночи Украйны, в мерцании звезд незакатных…» Боже мой, какая прелесть! Заклинаю вас: берегите свою юность.

Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада. Ему не хотелось возвращаться к гостям, он легко перелез через ограду и вернулся в дом Розена, который находился рядом. Надо было собираться в дальнюю дорогу.

Прощай Москва! Лермонтов занял место в карете, и кони понесли его снова по дорогам России. Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, которая была сродни путешествию с билетом в одну сторону. За окном кареты снова потянулись грязные дороги, нищие, печальные деревни, люди с изможденными, хмурыми лицами… Грустные мысли Лермонтова скоро оформились в стихотворные строки:

*Прощай, немытая Россия,*

*Страна рабов, страна господ.*

*И вы, мундиры голубые,*

*И ты, им преданный народ.*

*Быть может, за стеной Кавказа*

*Сокроюсь от твоих пашей,*

*От их всевидящего глаза,*

*От их всеслышащих ушей.*

1. **Глава третья. Последняя встреча**

Весна выдалась не похожая на обыкновенные русские весны. Поздно распустились деревья, поздно цвела по заглохшим уездным садам черемуха. И реки запоздали и долго не могли войти в берега.

Разливы задерживали Лермонтова. Приходилось дожидаться паромов, а иной раз, если паром был поломан или ветер разводил на разливе волну, даже останавливаться на день-два в каком-нибудь захолустном городке.

Лермонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дрянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. Куда было скакать сломя голову? Под чеченскую пулю?

Впервые за последние годы он с тревогой думал о смерти. Прошло мальчишеское время, когда ранняя гибель казалась ему заманчивым исходом в жизни. Никогда еще ему так не хотелось жить, как сейчас.

Все чаще вспоминались слова: «И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Он был бесконечно благодарен Пушкину за эти строки. Может быть, он еще увидит в жизни простые и прекрасные вещи и услышит речи бесхитростные, как утешения матери. И тогда раскроется сердце, и он поймет, наконец, какое оно, это человеческое счастье.

Городок, где пришлось на этот раз задержаться из-за гнилого парома, был такой маленький, что из комнаты в «Номерах для проезжающих» можно было рассмотреть совсем рядом – рукой подать – поля, дуплистые ивы по пояс в воде и заречную деревню. Ее избы чернели на просыхающем откосе, как стая грачей. Легкий дымок курился над ними.

Из окна было слышно, как далеко, за краем туманной земли, поет, ни о чем не тревожась, пастуший рожок.

- Когда пройдет это кружение сердца? - спросил себя Лермонтов и усмехнулся. - Круженье сердца! Кипенье дум! Высокие слова! Но иначе как будто и не скажешь.

Вошел слуга.

- Тут какие-то офицеры картежные стоят, - доложил он Лермонтову. - В этих номерах. Хрипуны, охальники - не дай бог! Про вас спрашивали.

- Будет врать! Откуда они меня знают?

- Ваша личность видная. Играть с ними будете? Ай нет?

- Отстань! Станешь ты меня слушать или нет?

- Как придется, - уклончиво ответил слуга. - Я перед вашей бабкой Евангелие целовал за вами смотреть.

- Знаешь что, - спокойно сказал Лермонтов, - ступай ты подальше! Надоел.

Слуга вышел. Лермонтов расстегнул рубаху, лег на шаткую койку и закинул руки за голову.

На улице, рядом с «номерами», сидел у окна худой паренек, и вот уже который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив, - должно быть, совсем ошалел от скуки: «Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!»

Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену. Там было старательно выведено синим карандашом: «Пристанище для путешествующих по державе Российской».

Российская держава, Россия! Нескладная родная страна!

На следующий день утром, выйдя на улицу, ему встретился слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет четырнадцати, вся в лохмотьях. Сквозь грязную рвань просвечивало ее детское нежное тело.

- Кем он тебе приходится, этот солдат? - спросил Лермонтов девочку.

- Да никем. Я сирота. А ему пушечным огнем глаза выжгло.

- В бою под Тарутином! - прохрипел солдат.

По его зажатым воспаленным векам ползали мухи, но солдат их не отгонял.

Лермонтов дал солдату полтинник. Заметив это, слуга ворчливо сказал:

- Напрасно вы их балуете, Михаил Юрьевич

- Помалкивай, пока я тебя не отправил в Тарханы!..

Накрапывал мелкий дождь, и Лермонтов вернулся в номер гостиницы. За окном прогремели по булыжникам колеса, брякнул и замолк колокольчик под дугой, захрапели лошади; топоча сапогами, скатился по лестнице гостиничный слуга, знакомая девочка-нищенка пропела серебряным голосом: «Барыня-красавица, подайте копеечку убогому слепцу-кавалеру». Кто-то новый приехал в гостиницу. Лермонтов встал с койки и подошел к окну.

Из коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова - высокая, тонкая, с бронзовым блеском в волосах. Лермонтов отшатнулся от окна. Откуда она здесь, в этом заштатном городке?..

Любила ли она его? Он достоверно не знал. Кажется, любила. Вообще он не знал, любил ли его по-настоящему хоть кто-нибудь в жизни. Все привязанности кончались обманом. Наталья Иванова променяла его на проворовавшегося офицера, Лопухина вышла замуж за богача… Щербатова…

Щемящей болью в душе оставалась измена Натальи Ивановой, к которой он питал, кажется, самые искренние чувства. Ему казалось, что и она любит его... но ошибся... Разрвыв был болезненным:

*Я не унижусь пред тобою;*

*Ни твой привет, ни твой укор*

*Не властны над моей душою.*

*Знай: мы чужие с этих пор.*

*Ты позабыла: я свободы*

*Для зблужденья не отдам;*

*И так пожертвовал я годы*

*Твоей улыбке и глазам,*

*И так я слишком долго видел*

*В тебе надежду юных дней*

*И целый мир возненавидел,*

*Чтобы тебя любить сильней.*

*Как знать, быть может, те мгновенья,*

*Что протекли у ног твоих,*

*Я отнимал у вдохновенья!*

*А чем ты заменила их?*

*Быть может, мыслею небесной*

*И силой духа убежден,*

*Я дал бы миру дар чудесный,*

*А мне за то бессмертье он?*

*Зачем так нежно обещала*

*Ты заменить его венец,*

*Зачем ты не была сначала,*

*Какою стала наконец!*

*Я горд!- прости! люби другого,*

*Мечтай любовь найти в другом;*

*Чего б то ни было земного*

*Я не соделаюсь рабом.*

*К чужим горам, под небо юга*

*Я удалюся, может быть;*

*Но слишком знаем мы друг друга,*

*Чтобы друг друга позабыть.*

*Отныне стану наслаждаться*

*И в страсти стану клясться всем;*

*Со всеми буду я смеяться,*

*А плакать не хочу ни с кем;*

*Начну обманывать безбожно,*

*Чтоб не любить, как я любил,-*

*Иль женщин уважать возможно,*

*Когда мне ангел изменил?*

*Я был готов на смерть и муку*

*И целый мир на битву звать,*

*Чтобы твою младую руку -*

*Безумец!- лишний раз пожать!*

*Не знав коварную измену,*

*Тебе я душу отдавал;*

*Такой души ты знала ль цену?*

*Ты знала - я тебя не знал!..*

Как же Щербатова попала сюда? Он вспомнил: городок этот лежит по пути на ее Украину, на ее родину. Там, в степях Заднепровья, выросла эта юная женщина с лазурными глазами. Он давно любил ее. Если бы он мог, подарил бы ей всю землю. Вся теплота любви этой женщины сосредоточилась в его сердце. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо.

Он был благодарен за это Щербатовой. Неважно, знала она об этом или нет. Достаточно того, что она жила и случай столкнул их снова на несхожих житейских дорогах.

Он позвал слугу и велел почистить мундир.

Мария Щербатова была здесь! Он слышал ее голос в пропахшем кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье рассохшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И, наконец, он услышал заглушённые слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее выходящей из коляски:

- Неужели Михаил Юрьевич здесь? Вот забавный случай! Тогда передай ему вот это.

«Вот это» было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга.

В записке было два слова:

«Приходи скорей!»

Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова.

Марии Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова.

В них было все смятение ее любви, утаенной печали. С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, не приносило это ожидание. А вот сейчас – сбылось!

По отъезде Лермонтова, Щербатова решила тотчас уехать к себе на Украину. Она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был не прав, когда упрекал ее в этом:

*На светские цепи,*

*На блеск утомительный бала*

 *Цветущие степи*

*Украйны она променяла,*

 *Но юга родного*

*На ней сохранилась примета*

 *Среди ледяного,*

*Среди беспощадного света.*

 *Как ночи Украйны,*

*В мерцании звезд незакатных,*

 *Исполнены тайны*

*Слова ее уст ароматных,*

 *Прозрачны и сини,*

*Как небо тех стран, ее глазки,*

 *Как ветер пустыни,*

*И нежат и жгут ее ласки.*

 *И зреющей сливы*

*Румянец на щечках пушистых*

 *И солнца отливы*

*Играют в кудрях золотистых.*

 *И, следуя строго*

*Печальной отчизны примеру,*

 *В надежду на бога*

*Хранит она детскую веру;*

 *Как племя родное,*

*У чуждых опоры не просит*

 *И в гордом покое*

*Насмешку и зло переносит;*

 *От дерзкого взора*

*В ней страсти не вспыхнут пожаром,*

 *Полюбит не скоро,*

*Зато не разлюбит уж даром.*

Эти стихи Мария всегда хранила у сердца.

Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий, неуловимый сон, жила надежда: может быть, она еще встретит его, догонит в пути. Мало ли что случается в жизни.

И вот – сбылось! Лермонтов здесь. И она должна решиться и сказать ему, наконец, как он ей дорог. И потом плакать от нежности, от безнадежности добиться хотя бы недолгого счастья.

Она не могла объяснить себе многого. Сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок, гостиный двор с желтыми облупившимися сводами, голубей на базаре, зеленую вывеску трактира «Чай да сахар!», каждую щепку на горбатой мостовой.

- Я думаю совсем не о том, не о том! - шептала Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничным зеркалом. - Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится. Никогда! Что я скажу ему? Где? Нет, только не в этих «номерах»! Уйдем за город, к реке. Вон в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест над часовней. Должно быть, там кладбище.

Но встреча, как это всегда бывает, получилась совсем не такой, как ожидала Щербатова.

Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь, по лестнице и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю соломенную шляпу.

Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ее руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах и тотчас исчезла.

И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Там так громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил:

– Как будто на сотне сковородок жарят яичницу на украинском сале.

Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад. Они все время уходили в сторону от единственно важного для них разговора.

Под горой в мутноватой воде кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краев. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы…

Но этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о России, о том, что любит в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только то и делать, что смотреть на полую воду. Должно быть, все занимательно для нас, если душа открыта для самых простых впечатлений.

Он говорил с ней, как с другом, как с мужчиной. В его темных глазах появился влажный блеск.

- Михаил Юрьевич! - Щербатова положила пальцы на горячую руку Лермонтова. - Я догадываюсь обо всем, что ты можешь думать обо мне. Но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и пасла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские песни. «Закувала та сыва зозуля раным-рано на зори». Вы понимаете? «Закуковала серая кукушка на ранней заре».

- Я понимаю, – ответил Лермонтов и начал чертить ножнами шашки по песку.

- Михаил Юрьевич! - сказала с отчаянием Щербатова. - Опять у тебя тоска! Я не знаю, что сделать, чтобы ее не было.

- Все кончится, - спокойно ответил Лермонтов. - Мы украли у этого дурацкого света единственный день. Но все равно ты ничем не можешь помочь мне. Просто ты не решишься.

- Да, не решусь, - призналась Щербатова и опустила голову.

- Ты не виновата, - сказал, успокаивая ее, Лермонтов. - Мне грустно оттого, что я тебя люблю, и знаю, что за этот легкий день тебе придется дорого рассчитаться. Мы не скроемся. Здесь шайка петербургских офицеров. Кто-то из них следит за мной. Это зоркий глаз Бенкендорфа.

- Ну, вот, - Щербатова встала и протянула Лермонтову руки, как бы желая, помочь ему подняться с низкой садовой скамейки, - ты так просто сказал то, что я не решаюсь сказать сама.

Она слегка потянула его за руки. Лермонтов встал, и она, обняв его за плечи, поцеловала в губы, потом в глаза - поцеловала прямо, открыто, глядя в побледневшее лицо.

И опять все случилось не так, как она думала. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, а только разрывающая сердце нежность.

Лермонтов был спокоен и счастлив. Но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии.

Днем Лермонтов обошел со Щербатовой весь городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова рассказывала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие, старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки.

Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее появилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею.

Они пообедали у известной в городке бригадирской вдовы-поварихи. Она накрыла стол в саду. Цвела яблоня. Лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелки с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову:

– Я его берегла для праздника. А вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскали такую красавицу?

Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно смахнула ее мизинцем.

Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге, но куда сейчас девалась ее тамошняя сдержанность, снежная, почти мраморная красота и горделивость движений? Сейчас перед ним была простая, ласковая женщина, и тайная радость, что она переменилась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова.

Только к вечеру они вернулись в «номера». Огромное солнце склонялось к разливу.

Из большой комнаты в «номерах», занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестройное пение.

Войдя в свою комнату, Щербатова ощутила тяжелую боль, она сжала ей грудь. В одно это мгновение она поняла, что даже короткая разлука приводит ее в отчаяние. Что же будет завтра, когда придется расставаться надолго, может быть, навсегда?

День быстро угасал. На смену ему шла тишина ночи со слабым заревом звезд.

Если бы можно было остановить медленный ход ночи над этим глухим уголком России! Остановить, чтобы никогда не наступал завтрашний день…

Лермонтов в своем номере сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову.

Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи, будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды.

«Надо пойти к Щербатовой, – думал Лермонтов. – Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне. Зачем случилась эта встреча? Опять пришла тоска, дурные предчувствия».

Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им: «Некому руку подать в минуту душевной невзгоды». Но вот сейчас и невзгода, и есть кому руку подать, а тоска растет, как лавина, вот-вот раздавит сердце.

Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А вот теперь… У него, как и у этой нищей девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство роднило их, прославленного поэта и запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он так обеспокоен ее судьбой.

Он смутно помнил свою мать, которая умерла очень молодой, когда Лермонтову едва исполнилось два года – вернее, ему казалось, что помнил, – ее голос, теплые слабые руки, ее пение. Он часто ее видел во сне в белом платье. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни.

*Что за звуки! неподвижен внемлю*

 *Сладким звукам я;*

*Забываю вечность, небо, землю,*

 *Самого себя.*

*Всемогущий! что за звуки! жадно*

 *Сердце ловит их,*

*Как в пустыне путник безотрадной*

 *Каплю вод живых!*

*И в душе опять они рождают*

 *Сны веселых лет*

*И в одежду жизни одевают*

 *Все, чего уж нет.*

*Принимают образ эти звуки,*

 *Образ милый мне;*

*Мнится, слышу тихий плач разлуки,*

 *И душа в огне…*

Он часто вспоминал и отца, с которым его разлучили, и виделись они очень редко. Вскоре отец тоже умер.

*Ужасная судьба отца и сына*

*Жить розно и в разлуке умереть,*

*И жребий чуждого изгнанника иметь*

*На родине с названьем гражданина!*

*Но ты свершил свой подвиг, мой отец,*

*Постигнут ты желанною кончиной;*

*Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец*

*Того, кто был всех мук твоих причиной!*

*Но ты простишь мне! Я ль виновен в том,*

*Что люди угасить в душе моей хотели*

*Огонь божественный, от самой колыбели*

*Горевший в ней, оправданный творцом?*

*Однако ж тщетны были их желанья:*

*Мы не нашли вражды один в другом,*

*Хоть оба стали жертвою страданья!..*

За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так и он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз по-иному: то три года, то девять, а то и все двадцать лет. Двадцати лет ему, пожалуй, хватит.

За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи. Он подумал, что это слуга.

- Опять ты здесь, - сказал устало Лермонтов. - Я же говорил, чтобы ты оставил меня в покое.

Теплые руки обняли Лермонтова за голову, горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы.

Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побелевшими пальцами. Лермонтов обнял ее.

- Радость моя! – сказала она. - Серденько мое! Что же делать? Что делать?

Оттого, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви.

Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Внезапная мысль, что его может спасти только всеобщая любовь, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании. Но он тотчас прогнал ее и внутренне засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому назначению поэта так бесконечно труден и долог - ему не дойти!

– Мария, – сказал он, и голос его дрогнул, – если бы ты только знала, как мне хочется жить! Как мне нужно жить, Машенька!

Она прижала его голову к груди. Он впервые за последние годы заплакал - тяжело, скупо, задыхаясь в легком шелку ее платья, не стыдясь своих слез.

- Ну что ты? Что ты, солнце, радость моя? – шептала Щербатова.

Лермонтов сжал зубы и сдержался. Но долго еще он не мог вздохнуть всей грудью.

- Пойдем сейчас ко мне, – шептала Щербатова.

- Хорошо, - сказал он. - Иди. Я сейчас умоюсь и приду.

- Только скорее, милый.

Она незаметно вышла. Лермонтов умываться не стал. Он сел к столу и быстро начал писать:

*Мне грустно, потому что я тебя люблю,*

*И знаю: молодость цветущую твою*

*Не пощадит молвы коварное гоненье.*

*За каждый светлый день иль сладкое мгновенье*

*Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.*

*Мне грустно... потому что весело тебе.*

Он встал, спрятал стихи за обшлаг мундира, задул свечу и вышел.

Глухая ночь проходила неведомо куда над городком, над черными полями и разливом. И лениво, как бы засыпая, ударил один раз в колотушку ночной сторож…

Лермонтов проснулся рано утром. Рядом с улыбкой на лице еще спала Мария. Михаил Юрьевич залюбовался спящей женщиной. «Боже мой, какая она красивая!» - подумал Михаил Юрьевич. Он взял ее за руку и нежно поцеловала. За все: за прошлые ее страдания, за погибшую молодость, за счастье жить под одним небом.

- Ты уже проснулся, - сказала она, нежно прижавшись к нему всем телом.

- Пора, любовь моя, тебе надо ехать. Я закажу завтрак, и буду ждать тебя внизу.

Лермонтов спустился в свой номер, чтобы привести себя в порядок.

Заказав завтрак, он ждал ее за столиком.

Через полчаса Мария подошла к столику. Она была обворожительная, длинное голубое платье подчеркивало ее изумительную фигуру.

Лермонтов поцеловал ее руку. Красота женщины вдруг родили в его голове неожиданную мысль: «Может бросить все, и уехать с этой женщиной, окунувшись с головой в ее любовь, в любовь ее роскошного тела… Нет, поздно… Теперь я сделать этого не смогу… Я чувству, меня ждет другая судьба…»

Щербатовой надо было ехать. Подали коляску. С глазами, полными слез, она обняла Лермонтова за шею, обсыпая его губы горячими поцелуями.

- Миша, не забывай меня. Я очень люблю тебя… Я всегда буду ждать. Береги себя… Прощай, Миша! – шептала она.

- Машенька, любовь моя, и ты береги себя… Помни обо мне…

Лермонтову стало безмерно жаль эту хрупкую и красивую женщину, которую он любил как-то по-особому глубоко и нежно и на долю которой выпало столько горя – смерть мужа и смерть маленького сына, их сына...

Каждый из них, с болью в сердце и с предчувствием неизбежного, едва оторвался друг от друга…

Щербатова сидела в коляске, закрыв глаза. После разлуки с Лермонтовым она не могла смотреть ни на степь, ни на людей, ни на попутные села и города. Они как бы заслоняли воспоминание о нем, тогда как все ее сердце принадлежало только ему. Все, что не было связано с ним, могло бы совсем не существовать на свете.

С детских лет она слышала разговоры, что любовь умирает в разлуке. Какая ложь! Только в разлуке бережешь, как драгоценность, каждую малость, если к ней прикасался любимый.

Вот и сейчас к подножке коляски прилип листок тополя. Когда Лермонтов, прощаясь со Щербатовой, вскочил на подножку, он наступил на него.

Щербатова смотрела на этот трепещущий от ветра жалкий лист и боялась, что его оторвет и унесет в поле. Но он не улетал. Лист оторвался и улетел только на третий день к вечеру, когда из-за днепровских круч ударил в лицо грозовой ветер и молнии, обгоняя друг друга, начали бить в почерневшую воду.

Гроза волокла над землей грохочущий дым и ликовала, захлестывая поля потоками серой воды.

Кучер повернул к видневшейся вдалеке деревне. Испуганные кони скакали, прижав уши, храпя, косясь на раскаты грозы, обгонявшие коляску то справа, то слева.

Щербатова привстала, сбросила шаль. Тополевого листка на подножке не было.

Гром расколол над головою небо.

«Зачем я не бросила все, – подумала с тоской Щербатова, – и не поехала с ним на Кавказ?»

Ничего не нужно сейчас – ни покоя, ни прочности в жизни. Только бы увидеть его, взять за руки. И знать, что он здесь, рядом, и что никакая сила в мире не сможет теперь оторвать их друг от друга.

Гроза несла на юг, к Кавказу, обрывки разодранного в клочья неба. И старик украинец в накинутой на голову свитке торопливо отворял перед взмыленными лошадьми скрипучий плетень и говорил:

– В такую грозу разве мыслимо ехать! Убьет и размечет. Заходите скорийше до хаты.

Опять задержка. Но теперь не из-за поломанного парома, а из-за грозы. Она долго кружила над ночной степью в полыхании синего небесного огня. Серебряная путаница сухих стеблей и колосистых трав вдруг возникала во мраке по сторонам степного шляха и тотчас гасла, чтобы через мгновение вспыхнуть снова с нестерпимой, пугающей яркостью.

Каждый раз при вспышке молнии Лермонтов видел ее вороватый отблеск на эфесе своей шашки и на медной бляхе на спине ямщика. И каждый раз появлялась и снова тонула в кромешном мраке припавшая к широким балкам степная деревня. Она как бы прилегла к земле, спасаясь от грозы.

В одной из хат Лермонтов остановился переждать грозу. Он думал назавтра ехать дальше, но черноземные дороги превратились от ливня в озера липкой грязи. Надо было дождаться, пока они немного просохнут.

Хата была ветхая. На жердях под потолком висели пучки пересохшей полыни. Жили в хате старуха Христина, промышлявшая знахарством и гаданием, и ее муж, сельский скрипач Захар Тарасович. Он играл на крестинах и свадьбах. Скрипочка у него была совсем детская, высохшая от старости, как пучки полыни под потолком. И такая же легкая, как эти пучки.

Лермонтов прожил в деревне два дня. Все время напролет он писал. Никто не мешал ему, не приставал с разговорами. Мысли были ясные, как безоблачная ночь. На душе было легко от этих мыслей и от ощущения, что все вокруг подвластно поэзии. Разлука со Щербатовой, воспоминания, тоска по юной любящей женщине – все это помогало Лермонтову писать. Он с грустью думал, что в сердце поэта, кажется, нет большей привязанности, чем привязанность к поющей строфе. Альбом Одоевского быстро заполнялся стихами. Сейчас он берег каждый час своей жизни. Он теперь отвечал за все, еще не свершенное им, за каждое будущее слово, за каждую будущую строфу. Перед кем? Перед людьми, перед своей совестью, перед поэзией. Нечего играть в прятки. Порой он сам восхищался тем, что создал, но, конечно, никому не сознавался в этом.

Он прилег и задремал. Сквозь дремоту он ощущал легкий, даже легчайший ветер на лице. Ему казалось, что Щербатова вошла в избу, оставила открытой скрипучую дверь, и звездный свет сиял за дверью, как синяя глубокая заря. И свежесть ночи, огромная успокоительная свежесть, собравшая весь холод родников, что журчат повсюду по степным балкам, прикоснулась к его лицу. От этого прикосновения ночной прохлады губы Щербатовой, приникшие сквозь сон к его глазам, показались такими горячими, будто солнечный луч каким-то чудом прорвался сквозь ночь и упал на лицо Лермонтова.

Лермонтов проснулся. Сердце билось медленно. Лермонтов пролежал с закрытыми глазами до рассвета. Он лежал один в крошечной хате, затерянной в широкой степи, укрывшись буркой.

Было слышно, как где-то, должно быть в соседней хате, плакал ребенок. Этот слабый звук наполнял ночь живым ощущением горя. Что делать, чтобы прошло это сиротство, одиночество?

Лермонтов сел на лавке. Не зажигая свечи, он начал писать карандашом на обертке от табака:

*Я жду ее в долу печальном;*

*Белеет тень во мраке дальном,*

*Как если б кто-то тихо шел…*

*Но нет! – обманчивы надежды,*

*То ивы старые одежды;*

*Блестит сухой, колеблясь, ствол.*

*Склонясь гляжу на скат отлогий*

*И, мнится, слышу по дороге*

*Легчайших отзвуки шагов…*

*Нет, ничего! Над мохом мимо*

*Листок в ночи шумит, гонимый*

*Волной душистою ветров.*

*И полон горькою тоскою,*

*Ложусь на луг с густой травою,*

*Все сном глубоким замело…*

*Очнулся, - явственно для слуха*

*Ее дыханье шепчет в ухо,*

*Уста лобзают мне чело.*

1. **Глава четвертая. На Кавказ**

Монго дождался Лермонтова в Туле. Они встретились в гостинице, где остановился Столыпин. Встреча друзей была радостной.

- А я уже было отчаялся тебя дождаться, - сказал обрадовано Монго. – Думал, если сегодня не приедешь, завтра сам поеду в Ставрополь.

- Ты же сам знаешь, какие у нас дороги, - отвечал ему Лермонтов.

- Завтра надо ехать, - продолжал Столыпин, - мы уже с тобой и так задержались.

- Ну, ехать, так ехать, - согласился Лермонтов.

- Что тебя так задержало в дороге, кроме самих дорог? – поинтересовался Монго.

- Сейчас не спрашивай, расскажу потом. Хочу чего-нибудь поесть и выпить вина. Потом надо будет заехать к тетушке, а вечером давай заглянем к моему однокашнику Сашке Меринскому.

Друзья, оживленно переговариваясь, пошли в харчевню…

Тетушка, Наталья Алексеевна Столыпина, сестра бабушки Лермонтова, встретила гостей радушно, обняв Михаила Юрьевича, расплакалась.

- Мишенька, какой ты стал… - глядя на племянника, сквозь слезы говорила она. – Надолго к нам?

- Проездом мы здесь с Алексеем, дорогая, тетушка. Завтра уедем. Едем на Кавказ.

- Вы присаживайтесь, я сейчас распоряжусь нам самовар поставить. Как же это, быть в Туле и не испить чайку с самовара с тульским пряником.

За чаем, конечно же, переговорили все новости о родных и близких. Прощаясь, тетушка снова расплакалась.

- Мишенька, ты уж береги себя. Ты ведь знаешь, что Елизавета Алексеевна не переживет, если с тобой что-то случится.

- Не беспокойтесь, тетушка, все будет хорошо. Я заговоренный от чеченских пуль. Ну, а если что и случится, то двум смертям не бывать, а одной не миновать, - с грустной улыбкой отшутился Лермонтов.

Вечер друзья провели у Саши Меринского. Он очень обрадовался гостям. Тут же был накрыт стол, появилось вино и закуски. Лермонтов в этот вечер был в ударе. Он с юмором вспоминал годы их совместной учебы в Школе юнкеров, любовные приключения, шутливые эпиграммы, прозвища друзей, автором которых он в основном и был… Наговорившись, уже довольно поздно, стали прощаться. Веселость Лермонтова снова исчезла, взгляд его потемнел, улыбка сошла с лица.

- Прощай, Саша, - сказал Михаил Юрьевич. – Не поминай лихом. Увидимся ли?..

- Прощай, Мишель. Я уверен, что еще обязательно увидимся…

- Нет, я чувствую, что нам больше не свидеться… - на лице Лермонтова застыла грустная улыбка. - Прощай!..

Дорога им предстояла долгая. Они выехали ранним утром. Солнце еще не взошло. Месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные тучи, висящие, как клочки разодранного занавеса; погода прояснилась и обещала тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно все вокруг. Во всем чувствовалось приближение дня.

Тронувшись в путь, друзья какое-то время продолжали обмениваться новостями. Лермонтов подробно рассказал обо всех перипетиях своего путешествия от Москвы до Тулы. Умолчал он только о встрече с Марией Щербатовой. Он не хотел, чтобы его чувства к этой женщине были хоть как-то подвергнуты не совсем скромным подозрением Монго. Это было бы несправедливо по отношению к искреннему чувству Марии, к их любви…

- Мишель, - прервал его рассказ Столыпин, улыбаясь – хватит о дороге и грязи. Неужто в Москве тебя не заинтересовала какая-нибудь красавица?..

- Ты знаешь, Монго, - после некоторого раздумья сказал Лермонтов, - в первые годы после Школы подпрапорщиков я стал бешено наслаждаться всеми удовольствиями, которые можно достать, в том числе и за деньги. Но удовольствия эти мне скоро опротивели. Я влюблялся в светских красавиц и был любим, но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а в сердце закрадывалась пустота... Вот и на этот раз целый месяц я был в моде, меня разрывали на части. Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах, с наслаждением окружал меня лестью; самые красивые женщины выпрашивали у меня стихи и хвалились ими как величайшей победой. Ты знаешь, Монго, мой самый главный недостаток - тщеславие и самолюбие. Было время, когда я стремился быть принятым в это общество в качестве новобранца. Это мне не удалось, аристократические двери для меня были закрыты. А теперь в это же самое общество я вхож уже не как проситель, а как человек, который завоевал свои права. Я возбуждаю любопытство, меня домогаются, меня всюду приглашают, а я и виду не подаю, что этого желаю; дамы, которые обязательно хотят иметь из ряду выдающийся салон, желают, чтобы я бывал у них, потому что я тоже лев, да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы никогда не подозревали гривы. Согласись, что всё это может вскружить голову. К счастью, моя природная лень взяла верх - и мало-помалу я начал находить всё это крайне несносным. Но этот новый опыт принес мне пользу, потому что дал мне в руки оружие против общества, и, если когда-либо оно будет преследовать меня своей клеветой (а это случится), у меня будут, по крайней мере, средства мщения; несомненно нигде нет столько подлостей и смешного… Теперь я чувствую свое другое предназначенье. Поэзия так и лезет из меня… Я многое задумал. Вот увидишь, ты еще мной будешь гордиться…

- Я и так горжусь тобой, Мишель. Верю, что твой талант еще наделает много шума в России.

- Вот шума, как раз, и не надо, а то зашлют куда-нибудь в Сибирь… - улыбнувшись горькой усмешкой, сказал Михаил Юрьевич. - Хотя и чеченские пули не на много лучше… Ах, Монго дорогой, я знаю, что не долго мне остается жить. В последнее время это предчувствие томит мою душу, терзает мое сердце. Я теперь часто пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. Этими вопросами полнятся и мои стихи.

Лермонтов минуту молчал. А потом начал читать:

*Гляжу на будущность с боязнью,*

*Гляжу на прошлое с тоской*

*И, как преступник перед казнью,*

*Ищу кругом души родной;*

*Придет ли вестник избавленья*

*Открыть мне жизни назначенье,*

*Цель упований и страстей,*

*Поведать - что мне бог готовил,*

*Зачем так горько прекословил*

*Надеждам юности моей.*

*Земле я отдал дань земную*

*Любви, надежд, добра и зла;*

*Начать готов я жизнь другую,*

*Молчу и жду: пора пришла;*

*Я в мире не оставлю брата,*

*И тьмой и холодом объята*

*Душа усталая моя;*

*Как ранний плод, лишенный сока,*

*Она увяла в бурях рока*

*Под знойным солнцем бытия.*

- Мишель, и чудно, и зябко душе от твоих стихов, мороз по коже. Каким-то волшебством и тайной от них веет… Я начинаю бояться твоих пророчеств…

Лермонтов продолжил, как будто и не было слов Столыпина.

- А, верно, Монго, ведь она существует, и потому что я ощущаю в душе моей силы необъятные...

Лермонтова постоянно преследовала мысль, что он чего-то не успеет, не оставит достойного следа.

*Боюсь не смерти я. О, нет!*

*Боюсь исчезнуть совершенно.*

*Хочу, чтоб труд мой вдохновенный*

*Когда-нибудь увидел свет;*

*Хочу - и снова затрудненье!*

*Зачем? что пользы будет мне?*

*Мое свершится разрушенье*

*В чужой, неведомой стране.*

*Я не хочу бродить меж вами*

*По разрушении! - Творец,*

*На то ли я звучал струнами,*

*На то ли создан был певец?*

*На то ли вдохновенье, страсти*

*Меня к могиле привели?*

*И нет в душе довольно власти -*

*Люблю мучения земли.*

*И этот образ, он за мною*

*В могилу силится бежать,*

*Туда, где обещал мне дать*

*Ты место к вечному покою.*

*Но чувствую: покоя нет:*

*И там, и там его не будет;*

*Тех длинных, тех жестоких лет*

*Страдалец вечно не забудет!*

- Вот ты спрашиваешь о красавицах… Моя любовь никому из женщин не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия: я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их радости и страданья - и никогда не мог насытиться. Во мне так и остался неутоленный голод и отчаяние…

- Ты слишком строг к себе, Мишель. Я знаю, что у тебя доброе, любящее сердце…

Они долго говорили и спорили о судьбе, о смысле жизни, о любви…

Потом Монго задремал, а Лермонтов, прислушиваясь к стуку колес, как всегда, погрузился в раздумья. Карета въехала в рощу. Легкий ветер вдруг занес в карету пожелтевший дубовый лист. Он, покружившись, лег на грудь Михаила Юрьевича. Лермонтов грустно улыбнулся, почему-то сравнил свою судьбу с этим оторванным ветром листом. Он вытащил из мундира альбом Одоевского, открыл чистую страницу, и стал быстро писать карандашом.

*Дубовый листок оторвался от ветки родимой*

*И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;*

*Засох и увял он от холода, зноя и горя*

*И вот, наконец, докатился до Черного моря,*

*У Черного моря чинара стоит молодая;*

*С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;*

*На ветвях зеленых качаются райские птицы;*

*Поют они песни про славу морской царь-девицы,*

*И странник прижался у корня чинары высокой;*

*Приюта на время он молит с тоскою глубокой,*

*И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,*

*До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.*

*Один и без цели по свету ношуся давно я,*

*Засох я без тени, увял я без сна и покоя.*

*Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,*

*Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».*

 *«На что мне тебя? — отвечает младая чинара, —*

*Ты пылен и желт, — и сынам моим свежим не пара.*

*Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?*

*Мой слух утомили давно уж и райские птицы.*

*Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!*

*Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;*

*По небу я ветви раскинула здесь на просторе,*

*И корни мои умывает холодное море.*

Только 9 мая 1841 года Лермонтов и Столыпин приехали в Ставрополь. Оба они остановились в лучшей гостинице города, владельцем которой был грек Найтаки. На первом этаже гостиницы находилась почтовая станция, а на втором номера для приезжих. Номера были довольно комфортабельны, комнаты высокие, мебель прекрасная. Большие растворенные окна дышали свежим, живительным воздухом.

Пообедав, Лермонтов сел писать письмо бабушке:

*«Милая бабушка, я сейчас приехал только в Ставрополь и пишу к вам; ехал я с Алексеем Аркадьевичем, и ужасно долго ехал, дорога была прескверная, теперь не знаю сам еще, куда поеду; кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды. Я, слава богу, здоров и спокоен, лишь бы вы были так спокойны, как я: одного только и желаю; пожалуйста, оставайтесь в Петербурге: и для вас и для меня будет лучше во всех отношениях. Скажите Екиму Шангирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда на Кавказ. Оно и ближе и гораздо веселее.*

*Я всё надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку.*

*Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки и молю бога, чтоб вы были здоровы и спокойны, и прошу вашего благословения.*

*Остаюсь покорный внук Лермонтов».*

Откинувшись в кресле, Лермонтов вспомнил, что он обещал писать Софье Карамзиной. Взяв перо в руки, он снова стал писать:

*«Я только что приехал в Ставрополь, дорогая m-lle Софи, и отправляюсь в тот же день в экспедицию с Столыпиным Монго. Пожелайте мне: счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в С.-Петербурге и что в тот момент, когда вы будете его читать, я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не предлагаю вам смотреть на карту, чтоб узнать, где это; но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете.*

*Я не знаю, будет ли это продолжаться; но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии, или - стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский, что, вероятно, принесло мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи, - о падение!..*

*Вы можете видеть из этого, какое благотворное влияние оказала на меня весна, чарующая пора, когда по уши тонешь в грязи, а цветов меньше всего. Итак, я уезжаю вечером; признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено вечно длиться. Я хотел написать еще кое-кому в Петербург, в том числе и г-же Смирновой, но не знаю, будет ли ей приятен этот дерзкий поступок, и поэтому воздерживаюсь. Если вы ответите мне, пишите по адресу: в Ставрополь, в штаб генерала Грабе, - я распорядился, чтобы мне пересылали письма. Прощайте; передайте, пожалуйста, всем вашим мое почтение; еще раз прощайте - будьте здоровы, счастливы и не забывайте меня.*

*Весь ваш Лермонтов».*

Посетив штаб военного командования Черноморской линии, Лермонтов и Столыпин получили указание о дальнейшем направлении движения. В Подорожной Лермонтова было записано:

«По Указу Его Императорского Государя Императора Николая Павловича, самодержца Всероссийского, и прочая, и прочая, и прочая. От города Ставрополя до крепости Темир-Хан-Шуры Тенгинского пехотного полка господину поручику Лермонтову с попутчиком из почтовых давать по две лошади с проводником, за указанные прогоны, без задержания. Начальник Кавказкой области Генерал Адъютант Граббе».

Вечер друзья решили время скоротать в местном театре. Зайдя в залу, они удивились множеству сальных свечей, которые нещадно чадили так, что глаза лопались от их чада. Но это не добавляло видимости, так что сцены из зала практически не было видно. Оркестр дико перевирал музыку. Капельмейстер, похоже, был глух, но пиликал на скрипке. Когда надо было начать или кончать, то первый кларнет дергал его за фалды, а контрабас бил смычком по его плечу. Раз, очевидно из-за личной ненависти, он так его хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в это время кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь головой прямо в барабан и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжить бой – что ж! о ужас! На голове у него оказался барабан…

Публика была в восторге… Посмеявшись, друзья вернулись в гостиницу.

11 мая Лермонтов и Столыпин покинули Ставрополь, отправились непосредственно на Кавказ в зону боевых действий. Почтовый тракт, по которому продвигались друзья, проходил через почтовые станции при крепостях и населенных пунктах Георгиевск, Моздок, Кизляр… Всю дорогу Лермонтов что-то записывал в альбом Одоевского.

- Мишель, прочти что-нибудь из написанного, - просил временами Столыпин.

- Не мешай, Монго, погоди, чуть позже, - отвечал ему Михаил Юрьевич…

Через несколько дней вдали показались очертания гор. Чем ближе они продвигались, тем явственнее проявлялась гряда Кавказских гор, а над ними два великана – вершины Эльбруса и Казбека. В неподвижном величии своем, казалось, внимали они одному аллаху. Увидев знакомые очертания, Лермонтов уловил мелькнувшую мысль: «Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..

Как я люблю твои бури, Кавказ! Те пустынные громкие бури!.. И люди здесь, как вольные птицы, живут беззаботно; война их стихия…»

Мысли его снова начали заполняться стихами:

 *С тех пор прошло тяжелых много лет,*

 *И вновь меня меж скал своих ты встретил.*

 *Как некогда ребенку, твой привет*

 *Изгнаннику был радостен и светел.*

 *Он пролил в грудь мою забвенье бед,*

 *И дружно я на дружний зов ответил…*

Добравшись до крепости Георгиевская, друзья задержались здесь в ожидании свежих лошадей. Их разместили в гостинице для приезжих. Лермонтов отправился играть в бильярд, а Столыпин прилег отдохнуть.

Во время игры в комнату вошел фельдъегерь с кожаной сумкой на груди. Едва переступил он порог, как Лермонтов, бросив кий, подскочил к нему и начал снимать с него сумку. Фельдъегерь сначала было заупрямился, но Лермонтов стал ему говорить, что они едут в действующий отряд и что, может быть, к нему есть письмо. Лермонтов сунул ему что-то в руку, выхватил сумку и выложил ее содержимое. Он с радостью схватил адресованное ему письмо. Это было письмо от Марии Щербатовой.

Лермонтов отошел к окну и стал читать.

*«Я пишу к тебе почему-то в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя - ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла…*

*Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор не обещает столько блаженства, никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.*

*Прощай, мой дорогой Мишель! Береги себя! И пусть Бог тебя бережет. Любящая тебя Маша Щербатова».*

«Милая Маша… Ну, вот, еще один близкий человек попрощался со мной. Еще один предвестник конца…» - грустная мысль неожиданно возникла и медленно угасла.

Ближе к вечеру лошади были поданы. Лермонтов велел запрягать.

Смотритель, помявшись в нерешительности у порога, обратился к путешественникам:

- Господа, я бы не советовал вам отправляться в дорогу на ночь глядя. У нас здесь не безопасно. Позавчера, в семи верстах отсюда зарезан был черкесами проезжий унтер-офицер.

- Мы не из пугливых, видали всякое в экспедициях. Прикажи запрягать!

Столыпин стоял у окна и смотрел на улицу.

- Мишель, посмотри, на улице начался настоящий ливень. Стоит ли по такой погоде тащиться в горах?

- Ладно, остаемся, - помедлив, согласился Лермонтов. – Тогда давайте ужинать.

Поставили на стол все, что нашли у себя из припасов, нашлась даже бутылка кахетинского вина. К ним присоединился еще один офицер, который направлялся на воды в Пятигорск.

На вопрос нового знакомого, куда они путь держат, Столыпин сказал, что они направляются в отряд за Лабу, чтобы участвовать в экспедиции против горцев.

- Я не разделяю ваше влечение к трудностям боевой жизни, - произнес новый знакомый, юнкер Лиговской, как он представился друзьям, - то ли дело в это время побывать в Пятигорске, в хорошей квартире с разными удобствами и затеями, в компании друзей и красивых женщин… Всего этого в отряде у вас не будет…

На Лермонтова эти слова произвели явное впечатление, глаза его загорелись веселым огнем…

Они еще немного поговорили, допили вино и отправились спать.

Утром Лермонтов, входя в комнату, где Столыпин с Лиговским сидели уже за самоваром, сказал, обращаясь к Столыпину:

- Послушай, Монго, а ведь теперь в Пятигорске действительно хорошо. Там, говорят, есть дом Верзилиных с красавицами девицами…

- Мишель, это не возможно.

- Почему? Там комендант старый Ильяшенков, и явиться нам к нему ничего не мешает. Решайся, Столыпин, - сказал Лермонтов, выходя из комнаты.

Столыпин сидел задумавшись.

- Ну что, решаетесь, капитан? – спросил его Лиговской.

- Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, ведь мне поручено везти его в отряд. Вон и наша подорожная…

В это время открылась дверь, и вошел Лермонтов.

- Столыпин, едем в Пятигорск! – произнес он почти повелительным тоном. – Сам подумай, что нас ждет в отряде? Тоска… В лучшем случае чеченская пуля, которая, если не убьет, то, возможно, подарит мне отставку. В Пятигорске же, в приятной компании, мы сможем подлечить свои хвори, и может быть именно там дождусь приятных известий из Петербурга об отставке… Давай бросим жребий, бросим монету. Если упадет кверху решеткой – едем в Пятигорск, если гербом – в отряд. Согласен?

Столыпин минуту помолчал, а потом сказал:

- Черт с тобой, согласен.

После этого Лермонтов вынул из кармана кошелек с деньгами, взял монету, бросил ее. Монета упала кверху решеткой.

Лермонтов вскочил и радостно закричал:

- В Пятигорск! В Пятигорск! В Пятигорск!..

Дождь на улице не прекращался. Лиговской пригласил друзей в свою коляску, которая была ни чем не лучше казенной. Лермонтов с Лиговским сели на заднюю скамью, Столыпин – на переднюю. Но дождь целым потоком воды обдавал обе скамьи. Дорогой Столыпин и Лиговской молчали, а Лермонтов говорил почти без умолку, находясь в каком-то возбужденном состоянии. На пути им встретилось озеро, вокруг которого годом раннее джигитовал Михаил Юрьевич, когда его преследовали трое чеченцев. Лермонтов рассказал попутчикам, как он сумел ускользнуть от них на лихом своем карабахском коне. Все это он вспоминал, когда коляска катила по берегу озера.

Говорил Лермонтов и о делах внутри России, не очень лицеприятно отзываясь при этом о Николае Павловиче, что вызвало у Лиговского изумление, но он промолчал.

1. **Глава пятая. Пятигорск**

Вечером 13 мая Лермонтов и Столыпин были уже в Пятигорске. Поэту оставалось жить два месяца и два дня…

В Пятигорск они приехали промокшими до костей. Остановились в гостинице на бульваре, которую содержал все тот же грек Найтаки. Им дали два номера рядом. Минут через двадцать Лермонтов вошел в номер к Столыпину. Он уже был в темно-зеленом халате, подпоясанном шнурком с золотыми желудями на концах. Столыпин тоже успел переодеться.

- Ведь и Мартышка, Мартышка здесь, - потирая руки от удовольствия, сказал Лермонтов, - Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним.

Мартышкой Лермонтов называл своего давнего друга Николая Соломоновича Мартынова, тоже выпускника Школы подпрапорщиков, с которым он участвовал и в экспедиции против горцев.

Но Мартынова в Пятигорске не оказалось, он принимал ванны в Кисловодске.

Узнав об этом, друзья сели за стол, чтобы обсудить план дальнейших действий.

- Мишель, ты, надеюсь, понимаешь, что в Пятигорске нас никто не ждал и не ждет, - начал разговор Столыпин, - Нужно разрешение высшего начальства на проживание. Как мы его сможем получить?

- Нет ничего проще! Завтра пойдем к местному доктору, я с ним знаком, на обследование. Он добрый человек, и обязательно нам поможет… - не очень уверено проговорил Лермонтов. – А если что – помогут деньги. Мы ведь с тобою живем в России…

Необходимо сказать несколько слов, что из себя представлял Пятигорск в 1841 году.

Здесь не было слышно шума прибоя, зато вокруг поднимались величественные горные вершины, а сам город был разбросан по склону горы Машук и вокруг ее подошвы. В различных местах горы били серные ключи. Воздух был просто опьяняющим, «чист, как молитва ребенка», как любил говорить Михаил Юрьевич. В центральной части города стояли красивые каменные здания, были проложены бульвары, рассажена виноградная аллея, построены купальни и беседки, разбиты скверы и даже сад.

Пятигорск, безлюдный тихий городок зимой, вдруг в половине мая переполнялся приезжими и закипал. Отдыхающие звались здесь «водяным обществом». Жизнь в Пятигорске была веселая и привольная, нравы просты. Поэтому всякий туда норовил попасть. Городок был небольшой, и практически все жители его знали друг друга в лицо. Карточная игра здесь процветала не только в гостинице, но и в частных домах. Проигрывались и выигрывались целые состояния. Некоторые уезжали разбогатевшими, а кое-кто из проигравших пускали себе пулю в лоб. Здесь публику не тяготили столичные условности, и дамы были проще в обращении, здесь чуть ли не ежедневно устраивались балы, а превосходное вино текло рекой, здесь можно было наконец-то забыть об опостылевшей службе.

Со всех концов огромной России собирались больные к источникам в надежде исцеления. С восходом солнца толпы выстраивались у целительных источников со своими стаканами. Люди бросали свои стаканы в теплую вонючую воду и потом, залпом выпив какую-нибудь десятую порцию, морщились и не могли удержаться, чтоб громко не сказать: «Черт возьми, какая гадость!» Пятигорск слыл в те годы кавказским Монако. Лермонтов, с известной долей юмора, так и отозвался о городе:

*Очарователен Кавказский наш Монако!*

*Танцоров, игроков, бретеров в нем толпы;*

*В нем лихорадят нас вино, игра и драка,*

*И жгут днем женщины, а по ночам - клопы.*

Получить разрешение на проживание в Пятигорске оказалось гораздо сложнее, чем предполагал Лермонтов. Посещение доктора никаких результатов не дало. Несмотря на уговоры, он заявил, что без приказа коменданта обследовать не будет ни Лермонтова, ни Столыпина.

- Надо идти к коменданту Ильяшенкову, - в сердцах сказал Лермонтов, - Но вначале поговорю с ловкачом Найтаки, может он что-нибудь подскажет.

- Зря мы все это затеяли, - с ноткой сожаления высказался Столыпин.

- Я чувствую, все уладится, - успокоил его Михаил Юрьевич…

Найтаки привел к ним писаря из Пятигорского комендантского управления Карпова, заведовавшего полицейской частью и списками всех вновь прибывающих в Пятигорск. Поговорив с Михаилом Юрьевичем, он составил рапорт на имя коменданта Ильяшенкова, в котором Лермонтов и Столыпин сказывались больными.

Рассмотрев рапорт, Ильяшенков посмотрел с улыбкой на офицеров:

- Так вы больны, господа? Вижу, вижу… Ну, что ж, если комиссия подтвердит, милости прошу. Только уж будьте любезны не шалить и не бедокурить. В противном случае вышлю в полки, так и знайте!

- Больным не до шалостей, господин полковник, - ответил с поклоном Столыпин.

- Бедокурить не будем, а повеселиться немножко позвольте, господин полковник, - поклонился в свою очередь почтительно Лермонтов. – Иначе ведь мы можем умереть от скуки, и вам же придется хоронить нас.

- Тьфу, Тьфу! - отплюнулся Ильяшенков. – Что это вы говорите! Хоронить людей я терпеть не могу. Вот если бы вы, который-нибудь из вас, женились здесь, тогда бы я с удовольствием пошел к вам на свадьбу.

- Жениться!.. Тьфу, тьфу! – воскликнул притворным ужасом Лермонтов, пародируя коменданта. – Что это вы говорите, господин полковник, да я лучше умру!

- Ну вот, ну вот! Я так и знал, замахал руками Ильяшенков, - вы неисправимы, сами на себя беду накликаете. Ну, да идите с богом и устраивайтесь!.. А там что бог даст, то и будет.

И тут же распорядился об их освидетельствовании в комиссии врачей при пятигорском госпитале.

Карпов уговорил главного лекаря госпиталя, титулярного советника Барклай-де-Толли, выдать положительное заключение на болезненное состояние офицеров, и комиссией Лермонтов и Столыпин были признаны больными и подлежащими лечению минеральными водами. Об этом комендант Пятигорска донес в штаб войск на Кавказской линии в Ставрополь. К рапорту было приложено и медицинское свидетельство о болезни обоих офицеров.

И так друзья получили разрешение на легальное проживание в Пятигорске и лечение. На это у них ушло почти десять дней. Но и в дальнейшем им еще не раз грозила высылка из Пятигорска по указанию командования Кавказкой линии. Каждый раз их выручали доктора, подтверждающие необходимость лечения. Вот что, например, писал в одной из своих справок о состоянии здоровья Лермонтова Барклай-де-Толли:

*«Тенгинского пехотного полка поручил Михаил Юрьев, сын Лермонтов, одержим золотухою и цинготным худосочием, сопровождаемым припухлостью и болью десен, также изъязвлением языка и ломотою ног, от каких болезней г. Лермонтов, приступив к лечению минеральными водами, принял более двадцати горячих серных ванн, но для облегчения страданий необходимо поручику Лермонтову продолжить пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года: остановленное употребление вод и следование в путь может навлечь самые пагубные следствия его здоровью…»*

Ставропольский штаб не утвердил разрешение Ильяшенкова, потребовав немедленного возвращения офицеров в полк. Но после таких заключений врачей и письма Лермонтова к начальнику Кавказского края, генералу Головину, им было окончательно дозволено остаться на водах.

В эти месяцы и дни одни обстоятельства судьбы, как бы пытались увести Лермонтова от того места, где грозила ему смертельная опасность, а другие прочно удерживали его…

Вечерами, после всех хождений по инстанциям и комиссиям, Лермонтов много рисовал и писал. Ему почти каждую ночь снились сны. Вот и сегодня он увидел во сне Варечку Лопухину, первую свою настоящую юношескую любовь. Какое это было прекрасное время. Сколько романтики, сколько чувств, признаний, клятв… Теперь она живет за границей, замужем… Во сне она пришла с мученическим выражением лица, в черном платке на голове, как будто в трауре, ее чудные черные глаза опущены долу, были прикрыты густыми ресницами… Казалось, она хотела о чем-то предупредить его, и не могла… Лермонтов проснулся, уже светало, образ Вари все еще стоял перед его глазами. Ему страстно захотелось поговорить с гостей сна, пусть даже на бумаге. Он сел за стол и карандаш сам побежал по странице альбома.

*Я к вам пишу случайно; право*

*Не знаю, как и для чего.*

*Я потерял уж это право.*

*И что скажу вам? - ничего!*

*Что помню вас? - но, боже правый,*

*Вы это знаете давно;*

*И вам, конечно, все равно.*

*И знать вам также нету нужды,*

*Где я? что я? в какой глуши?*

*Душою мы друг другу чужды,*

*Да вряд ли есть родство души.*

*Страницы прошлого читая,*

*Их по порядку разбирая*

*Теперь остынувшим умом,*

*Разуверяюсь я во всем.*

*Смешно же сердцем лицемерить*

*Перед собою столько лет;*

*Добро б еще морочить свет!*

*Да и при том, что пользы верить*

*Тому, чего уж больше нет?*

*Безумно ждать любви заочной?*

*В наш век все чувства лишь на срок;*

*Но я вас помню - да и точно,*

*Я вас никак забыть не мог!*

*Во-первых потому, что много,*

*И долго, долго вас любил,*

*Потом страданьем и тревогой*

*За дни блаженства заплатил;*

*Потом в раскаяньи бесплодном*

*Влачил я цепь тяжелых лет;*

*И размышлением холодным*

*Убил последний жизни цвет.*

*С людьми сближаясь осторожно,*

*Забыл я шум младых проказ,*

*Любовь, поэзию, - но вас*

*Забыть мне было невозможно…*

Прочив написанное, Лермонтов мысленно произнес:

- А ведь я и сейчас ее люблю… Я виноват… Я, наверное, сильно ее обидел, и она отдала свою руку, но не сердце, другому… Я чувствую, что это было мое единственное счастье…

Получив разрешение на проживание, Лермонтов и Столыпин отправились в город в поисках квартиры. Они ее нашли почти на самой окраине города в доме В.И.Чилаева, офицера пятигорской военной комендатуры. Чилаев предложил флигель в своем доме, добавив, что квартира в старом доме занята уже князем Сергеем Трубецким и князем А.И.Васильчиковым, который еще пока не появился в Пятигорске.

По соседству располагался дом генерала Верзилина. Семья Верзилиных имела троих дочерей – Эмилия, Грушенька и Надежда, представлявших «грозу» для всего мужского населения Пятигорска. Старшей была Эмилия, ей исполнилось 26 лет, средней, Грушеньке, - 19 лет, а младшей, Надежде – только 15.

Во дворе дома Верзилиных тоже был маленький домик с несколькими комнатами, часть которых занимал полковник Зельмиц, а в дугой части проживали поручик Раевский, поручик Михаил Глебов и майор в отставке Николай Мартынов, которого тоже не было в городе.

Осмотрев снаружи стоявший во дворе домик и обойдя комнаты, Лермонтов остановился на балконе, выходившим в садик, граничивший с садом другого дома, владельцем которого был генерал Верзилин, и погрузился в раздумья:

«Дом на краю города, это хорошо – меньше шума и запаха от горячих источников. К тому же дом на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до самой кровли. Наверное, утром, когда открыть окно, эта комната наполнится запахом цветов, растущих в скромном палисаднике садика. Ветки черешен смотрят прямо в окно, и ветер будет стучать ими в стекло, а ягоды можно даже рукой достать. Вид с трех сторон чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, - а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разливается во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синее - зачем тут страсти, желания, сожаления?..»

Между тем Столыпин еще раз обошел комнаты, сделал несколько замечаний по расположению мебели и, осведомившись о цене квартиры, вышел также на балкон и спросил Михаила Юрьевича:

- Ну, что Мишель, хорошо?

- Ничего, - ответил поэт небрежно, как будто недовольный нарушением его заветных дум, - здесь будет удобно… дай задаток!

Столыпин вынул бумажник и заплатил все деньги за квартиру.

Вообще вид их квартиры был далеко не представителен. Низкие, приземистые комнаты, стены которых обклеены не обоями, но просто бумагой, окрашенной домашними средствами: в приемной – мелом, в спальне – голубоватой, в кабинете – светло-серой и в зале – искрасна-розовой клеевой краской. Потолки положены прямо на балки и выбелены мелом, полы окрашены желтой, а двери и окна синеватой масляной краской. Мебель самой простой, чуть не солдатской работы…

Под вечер в тот же день они переехали…

Уже совсем вечером Лермонтов сел писать письмо бабушке.

*«Милая бабушка,*

*Пишу к вам из Пятигорска, куды я опять заехал и где пробуду несколько времени для отдыху. Я получил ваших три письма вдруг и притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо засвидетельствовать и подписать здесь; я это всё здесь обделаю и пошлю.*

*Напрасно вы мне не послали книгу графини Растопчиной; пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите также сюда тотчас. Я бы просил также полного Шекспира, по-английски, да не знаю, можно ли найти в Петербурге; препоручите Екиму. Только, пожалуйста, поскорее; если это будет скоро, то здесь еще меня застанет.*

*То, что вы мне пишите о словах г. Клейнмихеля, я полагаю еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать?*

*Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли если я подам.*

*Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны; целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук*

*М. Лермонтов»*

Лермонтов ждал хороших вестей от бабушки, но их не было. Он мечтал об отставке, ему надоели узкие рамки военного, он жаждал свободы для творчества, для реализации своих замыслов. Но Петербург даже не советовал соваться с вопросом об отставке. Лермонтова там не желали видеть.

Около полуночи Лермонтов вышел на улицу подышать чистым воздухом, ощутить освежающую вечернюю прохладу. Вечер был чудный. Он спустился по липовой аллее бульвара. Город уже спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отроги Машука, на вершине которого приютилось облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрипом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Лермонтов сел на скамью и задумался... Покоренный окружающей красотой, он вдруг почувствовал, как его душу заполняют стихи.

*Выхожу один я на дорогу;*

*Сквозь туман кремнистый путь блестит;*

*Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,*

*И звезда с звездою говорит.*

*В небесах торжественно и чудно!*

*Спит земля в сияньи голубом…*

*Что же мне так больно и так трудно?*

*Жду ль чего? жалею ли о чём?*

*Уж не жду от жизни ничего я,*

*И не жаль мне прошлого ничуть;*

*Я ищу свободы и покоя!*

*Я б хотел забыться и заснуть!*

*Но не тем холодным сном могилы…*

*Я б желал навеки так заснуть,*

*Чтоб в груди дремали жизни силы,*

*Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;*

*Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,*

*Про любовь мне сладкий голос пел,*

*Надо мной чтоб вечно зеленея*

*Тёмный дуб склонялся и шумел.*

Вернувшись домой, он зажег свечу, сел за стол и быстро записал стихотворение, что родилось только что в его поэтическом воображении.

«Теперь спать!» - скомандовал он сам себе.

На следующее утро Лермонтов поднялся рано, и пока Столыпин еще спал, он решил пройтись к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное общество.

Утро было свежее и прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; внизу расстилалась широкая площадь; за нею базар уже кипел народом, потому что было воскресенье; босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг Михаила Юрьевича, но он на них не обращал внимания.

Идя бульваром, он встретил несколько групп водяной публики. То были большею частью семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они посмотрели на Лермонтова с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро увидев армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.

Местные дамы, так сказать хозяйки вод, как оказалось потом, были более благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности.

На пути к Елизаветинскому источнику, Михаил Юрьевич обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые здесь составляли особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют - однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы: штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжи. Они исповедают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец вот и колодец... На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, - бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки можно было заметить или военную фуражку или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус; между ними было два гувернера со своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Лермонтов остановился на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать окрестность, как вдруг услышал за собой знакомый голос:

- Лермонтов! давно ли здесь?

Обернувшись, Михаил Юрьевич, тоже с удивлением, увидел Глебова, с которым познакомился в действующем отряде.

Глебов – драгунский поручик. Он только год в службе. Они обнялись. Глебов был ранен пулей в руку и приехал на воды лечиться. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать лет двадцать пять, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правая у него на перевязи. Говорит он скоро и часто витиевато готовыми пышными фразами. Это нравится романтическим провинциалкам до безумия. В душе таких людей часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии.

- Глебов? И ты здесь? Давно? – в свою очередь задал несколько вопросов Лермонтов. – Мы здесь с Столыпиным, уже дней десять. Еле добились разрешения на лечение.

- А я уже неделю пью эту вонючую воду. Вы где остановились?

- В доме Чилаева, здесь не так далеко.

- Так мы с вами соседи! – радостно воскликнул Глебов. - Я живу в одном доме с Раевским, и Мартыновым. Да ты их всех знаешь. Это дом Верзилиных. Правда, Мартынов пока принимает ванны в Кисловодске. Жду его со дня на день. Рядом поселилась целая компания наших друзей. Здесь и князь Сашка Васильчиков (пока не приехал), и князь Сергей Трубецкой, и Арнольди…

- Ты меня обрадовал, Глебов, это приятная компания, а то я уже был готов умереть со скуки. Как и чем вы здесь живете?

- Мы ведем жизнь довольно прозаическую, - сказал он, вздохнув, - пьющие утром воду - вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру - несносны, как все здоровые. Женские общества есть; только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски.

В эту минуту прошли к колодцу мимо них две дамы: одна чуть постарше, другая совсем молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками нельзя было разглядеть, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! Их легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда они прошла мимо, от них повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

Старшая из них обернулась, кивнула головой Глебову и подарила Лермонтова любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем Лермонтов внутренне сам себя поздравил.

- Эта, что посмотрела сейчас, прехорошенькая, - сказал Лермонтов Глебову. - У нее такие бархатные глаза - именно бархатные: я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю такие глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят... Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... Интересно, у нее зубы белы? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась...

- Мишель, ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади, - сказал Глебов с некоторым удивлением в голосе. – А ты знаешь, кто эти женщины? Это сестры Верзилины – твои соседки. Та, которая, оглянулась, ее зовут Эмилия, она действительно прехорошенькая. Ее здесь все называют «Розой Кавказа». Младшую зовут Надеждой, она еще почти дитя.

- Так ты с ними живешь в одном доме, и, конечно, знаком?

- Конечно, здесь правила приличия гораздо проще, чем в столичных салонах.

- Глебов, ты сможешь познакомить меня с ними?

- Нет ничего проще, приходи вечером к нам в гости, там и познакомишься. Я вижу, ты в самом деле намерился волочиться за Эмилией? Берегись, Мишель, это опытная кокетка, она здесь всех сводит с ума… Да, она недурна, Мишель... Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью, а платоническая любовь самая беспокойная. Эмилия из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор - никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой и, чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить - а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобою накокетничается вдоволь, а потом станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с тобой, потому что на тебе была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное...

- Я еще не решил, как мне поступить, но твоя мысль мне понравилась, - ответил Лермонтов, прощаясь…

Когда Эмилии исполнилось 13 лет, ей взяли учителя по билетам: в год она кончила курс французского языка... и началось ее светское воспитание. В комнате ее стоял рояль, но никто не слыхал, чтоб она играла... танцевать она выучилась на детских балах... романы она начала читать, как только перестала учить склады... и читала их удивительно скоро... Между тем отец ее получил порядочное наследство, вслед за ним хорошее место - и стал жить открытее... 15 лет ее стали вывозить, выдавая за 17-летнюю… 17 лет точка замерзания: они растягиваются сколько угодно как резинные помочи. Эмилия была недурна, - и очень интересна: бледность и худоба интересны... потому что француженки бледны, а англичанки худощавы... надобно заметить, что прелесть бледности и худобы существуют только в дамском воображении, и что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой "казармности". При первом вступлении Эмилии на паркет гостиных у нее нашлись поклонники. Это всё были люди, всегда аплодирующие новому водевилю, желающие слушать новую певицу, читающие только новые книги. Их заменили другие: эти волочились за нею, чтоб возбудить ревность в остывающей любовнице, или чтоб кольнуть самолюбие жестокой красоты; после этих явился третий род обожателей: люди, которые влюблялись от нечего делать, чтоб приятно провести вечер, ибо Эмилия приобрела навык светского разговора, и была очень любезна, несколько насмешлива, несколько мечтательна... Некоторые из этих волокит влюбились не на шутку и требовали ее руки: но ей хотелось попробовать лестную роль непреклонной... и к тому же они все были прескушные: им отказали... один с отчаяния долго был болен, другие скоро утешились... между тем время шло: она сделалась опытной и бойкой девою. Но нашелся один, который совершенно завоевал сердце красавицы. Это был князь Барятинский, который настолько был успешен, что вскоре ей пришлось избавляться от «плода любви»…

Про неё было в то время много разногласных толков. Старушки говорили о ней, что она прехитрая и прелукавая, приятельницы - что она преглупенькая, соперницы - что она предобрая, молодые женщины - что она кокетка, а раздушенные старики значительно улыбались при ее имени и ничего не говорили. Иные жалели, что такой правильной и свежей красоте недостаёт физиономии, тогда как другие утверждали, что хотя она вовсе не хороша, но неизъяснимая прелесть выраженья в ее лице заменяет все прочие недостатки.

Она была в тех летах, когда еще волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в нее стало трудно; в тех летах, когда какой-нибудь ветреный или беспечный франт не почитает уже за грех уверять шутя в глубокой страсти, чтобы после, так для смеху, скомпрометировать ее, думая этим придать себе более весу... уверить всех, что она от него без памяти, и стараться показать, что он ее жалеет, что он не знает, как от нее отделаться... говорит ей нежности шепотом, а вслух колкости... бедная, предчувствуя, что это ее последний обожатель, без любви, из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно долее у ног своих... напрасно: она более и более запутывается, - и наконец... увы... за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже... одни мечты.

Вернувшись домой, Лермонтов застал Столыпина за чаем.

- Садись, Мишель, позавтракай. Как там на природе?

- Красиво, но будет жарко… Ты знаешь, кого я встретил? Глебова! Это молодой офицер, с которым я познакомился в отряде. Хороший малый! Он мне столько рассказал разного о местных красавицах, что у меня снова появилось любопытство к жизни. В доме, который рядом с нашим, это и есть дом генерала Верзилина, в котором разместился Глебов с Васильчиковым, и там есть несколько прелестниц. Двух я уже даже видел. Прехорошенькие! Вечером, давай, сходим к Глебову в гости, а заодно и познакомимся с местными красавицами. Надо себя чем-то занять, а то можно умереть от скуки.

- Мишель, тебя так и тянет на приключения. Чего можно ожидать от встреч со здешними прелестницами? Они в один миг тебя окрутят и женят на себе. Ты этого хочешь?

- Я иногда себя презираю, Монго... Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Но надо мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, - прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие...

- Ну, тогда я за тебя спокоен. До вечера далеко, я хочу сходить за билетами принятия ванн.

- Вот замечательно! Купи и на меня с десяток билетов. А я схожу, посмотрю лошадей, мне сказали, что у одного генерала есть несколько хороших на продажу. Ведь здесь пешком много не находишься, да и прогуляться в горы можно только на лошади. Я долго изучал горскую посадку и учился этой манере езды. Ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Если лошади окажутся подходящими, куплю двоих – для себя и тебе, Монго.

К вечеру Лермонтов вернулся с лошадьми. Сам он сидел верхом на красавце-скакуне сером черкесе.

Вечером друзья отправились в гости к Глебову в дом Верзилиных. Их сразу же пригласили в гостиную, где уже было человек пять гостей, среди них их общий знакомый юнкер Дорохов. Эмилия играла на фортепиано, гости, рассевшись в креслах, слушали музыку или тихо переговаривались.

- Господа, - войдя в залу, сказал Глебов, - разрешите представить вам моих друзей, капитана Столыпина и поручика Лермонтова.

Друзья раскланялись и присоединились к гостям. К ним подошел Дорохов.

- Мишель, - сказал он, - когда я проговорился, что в соседях поселился ты, хозяйка дома сказала, что твое имя ей знакомо, что, верно, она тебя встречала в Петербурге, где-нибудь в свете... Кажется, твоя история там наделала много шума... Хозяйка стала рассказывать о твоих похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочки слушали с любопытством. В их воображении ты сделался героем романа в новом вкусе... Я не противоречил хозяйке, хотя знал, что она говорит вздор.

- Ты знаешь, что я давно стал равнодушным ко всем этим светским сплетням. Я рад видеть тебя здесь. Как давно на водах?

- Уже две недели…

 Вскоре подали чай и Лермонтов оказался за столом рядом с Эмилией. Она внимательно посмотрела на его лицо.

- Господин Лермонтов, мне кажется, я вас где-то видела, - сказала она, передавая ему чашку с чаем.

- И я вас видел. Причем совсем недавно, утром у источника.

- Нет-нет. Мне кажется, что я вас видела очень давно, будучи почти ребенком.

Лермонтов, глядя в глаза Эмилии, начал вспоминать годы детства, когда в возрасте 10 лет от роду, на Кавказ его привезла бабушка. Он вспомнил белокурую девочку, свою сверстницу, с голубыми глазами, в которую он по-настоящему влюбился.

"Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша она была или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей... Он мне любезен, сам не знаю почему… Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиной в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее, это была страсть сильная, хотя ребяческая, это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так... И так рано! В 10 лет… о эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!.. Неужели это она, та девочка?.. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною: всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан: ничего не забываю, - ничего!"

Он вспомнил давно написанное стихотворение:

*В ребячестве моем тоску любови знойной*

*Уж стал я понимать душою беспокойной;*

*На мягком ложе сна не раз во тьме ночной,*

*При свете трепетном лампады образной,*

*Воображением, предчувствием томимый,*

*Я предавал свой ум мечте непобедимой.*

*Я видел женский лик, он хладен был как лед,*

*И очи - этот взор в груди моей живет;*

*Как совесть душу он хранит от преступлений;*

*Он след единственный младенческих видений.*

*И деву чудную любил я, как любить*

*Не мог еще с тех пор, не стану, может быть.*

*Когда же улетал мой призрак драгоценный,*

*Я в одиночестве кидал свой взгляд смущенный*

*На стены желтые, и мнилось, тени с них*

*Сходили медленно до самых ног моих.*

*И мрачно, как они, воспоминанье было*

*О том, что лишь мечта и между тем так мило.*

Все это быстро пронеслось в голове Лермонтова.

- Так это были вы? – спросил Михаил Юрьевич, целуя ее руку. – Боже мой, какая приятная неожиданность... Мне везет на имя Эмилия. У меня есть в Петербурге хороший друг с таким именем… Мы с вами в детстве были на «ты», давайте восстановим эту традицию.

- Я не против, Мишель. Здесь душно, пойдемте в сад.

Они вошли в сад, сели рядом на скамейку. С минуту молчали, вдыхая ароматы летнего вечера.

- Как это было давно, - прервал молчание Лермонтов. – Но моя память все сохранила.

- И я все помню, как ты входил в комнату и очень смущался, а потом выбегал из нее. Я смялась, не понимая ничего. Я была просто ребенок.

Взгляд ее был нежен, слова произносились как-то по-особому мягко.

Лермонтов взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по его жилам. Он вспомнил звук ее милого голоса. Эмилия посмотрела ему в глаза своими глубокими и спокойными глазами; ему показалось, что в них выражалась затаенная недоверчивость и что-то похожее на упрек.

- Как давно мы не видались, - задумчиво произнес Лермонтов.

- Давно, и переменились оба… Теперь мы взрослые… Вы офицер, знаменитый поэт…

- Думаю, что это не помешает нам быть хорошими друзьями.

- Если ты захочешь, Мишель… Давайте, вернемся, боюсь мама будет переживать.

Весь вечер Лермонтов старался не отходить от Эмилии.

- Я, наверное, дурно буду спать эту ночь, - сказала она Лермонтову, когда гости начали расходиться.

- Надеюсь, не я буду тому виной?

- О нет! - И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что Лермонтов невольно наклонился и поцеловал ее руку. Никто этого не заметил.

Вернувшись домой, Михаил Юрьевич тоже долго не мог уснуть. Рой мыслей одолевал его мозг, переживая вновь встревожившую его встречу из далекого детства:

«Эта встреча заставляет меня добиваться любви этой милой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь?.. А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути…»

Чистая душа поэта не могла предполагать, что этот цветок уже давно распустился, и его давно сорвали, он превратился в нечто похожее на тот цветок, который старается захватить и умертвить всякое насекомое, попавшее на его лепестки; его душа не могла предположить, какую роль этот «цветок» сыграет в трагической судьбе поэта. А пока, очарованный прелестями «Розы Кавказа» и воспоминаниями детства, его карандаш снова заскользил по бумаге поэтического альбома.

*Из-под таинственной, холодной полумаски*

*Звучал мне голос твой отрадный, как мечта.*

*Светили мне твои пленительные глазки*

*И улыбалися лукавые уста.*

*Сквозь дымку легкую заметил я невольно*

*И девственных ланит, и шеи белизну.*

*Счастливец! видел я и локон своевольный,*

*Родных кудрей покинувший волну!..*

*И создал я тогда в моем воображенье*

*По легким признакам красавицу мою;*

*И с той поры бесплотное виденье*

*Ношу в душе моей, ласкаю и люблю.*

*И все мне кажется: живые эти речи*

*В года минувшие слыхал когда-то я;*

*И кто-то шепчет мне, что после этой встречи*

*Мы вновь увидимся, как старые друзья.*

В то жаркое лето на водах Михаил Юрьевич ощутимо менялся прежде всего для самого себя.

По инерции он жил прежней жизнью: поутру ванны, до обеда болтовня с приятелями, после обеда игра в карты или верховая прогулка, вечера почти ежедневно в гостиной генеральши Верзилиной, танцы под фортепиано, сочинение эпиграмм и шаржирование друг друга в альбоме сестер Верзилиных. Это существование, конечно же, предполагало минуты вдохновения, но каждый день многие часы тратились и на пустое времяпрепровождение.

В эти дни смерть постоянно присутствовала в его размышлениях. Он не торопил её, но и не отворачивался. Во всём, что он писал в эти весенне-летние месяцы, неотвратимо звучала нота прощания.

 *И не забыт умру я. Смерть моя*

 *Ужасна будет; чуждые края*

 *Ей удивятся, а в родной стране*

 *Все проклянут и память обо мне.*

 *Кровавая меня могила ждет,*

 *Могила без молитв и без креста,*

 *На диком берегу ревущих вод*

 *И под туманным небом; пустота*

 *Кругом. Лишь чужестранец молодой,*

 *Невольным сожаленьем, и молвой,*

 *И любопытством приведен сюда,*

 *Сидеть на камне станет иногда*

 *И скажет: отчего не понял свет*

 *Великого, и как он не нашел*

 *Себе друзей, и как любви привет*

 *К нему надежду снова не привел?*

 *Он был ее достоин. И печаль*

 *Его встревожит, он посмотрит вдаль,*

 *Увидит облака с лазурью волн,*

 *И белый парус, и бегучий челн...*

Вставал он неодинаково, иногда рано, иногда спал до 9-ти и более. Но это случалось редко. В первом случае тотчас, как встанет, уходил пить воды или брать ванны, и после пил чай, во втором же – прямо с постели садился за чай, а потом уходил из дому. Около двух часов возвращался домой обедать и почти всегда в обществе друзей. Поесть любил хорошо. На обед готовилось четыре-пять блюд, по заказу Столыпина. Мороженное же, до которого Лермонтов был большой охотник, ягоды или фрукты, подавались каждодневно. После обеда пили кофе, курили и балагурили на балкончике комнаты Михаила Юрьевича, а некоторые офицеры спускались в сад полежать на травке, в тени акаций и сирени. Около 6 часов подавался чай, и затем все уходили.

И все же этим летом Лермонтов много работал. Когда вставал рано, садился перед открытым окном, в которое заглядывали ветки черешен. Срывал несколько ягод и принимался рисовать или писать. Иногда он просто сидел, слушая пение птичек.

 *Я не могу, что значит отдыхать.*

 *Всегда кипит и зреет что-нибудь*

 *В моем уме. Желанье и тоска*

 *Тревожат беспрестанно эту грудь.*

 *Но что ж? Мне жизнь все как-то коротка*

 *И все боюсь, что не успею я*

 *Свершить чего-то! жажда бытия*

 *Во мне сильней страданий роковых,*

 *Хотя я презираю жизнь других...*

Его роман с Эмилией бурно развивался. Она оказалась прекрасной наездницей. Вдвоем или вместе с Столыпиным они совершали долгие прогулки верхом.

Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает речка Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это - ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. На этот раз Лермонтов и Эмилия отправились туда вдвоем посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из них, по правде сказать, не думал о солнце. Лермонтов ехал возле Эмилии; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их - совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Лермонтов взял под уздцы лошадь Эмилии и свел ее в воду, которая не была выше колен; они тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Михаил Юрьевич забыл об этом предварить девушку.

Они уже были на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась.

- Мне дурно! - проговорила она слабым голосом...

Лермонтов быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию.

- Смотри наверх! - шепнул он ей, - это ничего, только не бойся, я с тобой.

Ей стало лучше; она хотела освободиться от его руки, но он еще крепче обвил ее нежный мягкий стан; его щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

- Что ты со мною делаешь? Боже мой!..

Он не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы его коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; когда они выбрались на берег, то видно было, что ее беспокоило молчание Лермонтова.

- Или вы меня презираете, или очень любите! - сказала она наконец голосом, в котором были слезы. - Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... о нет! не правда ли, - прибавила она голосом нежной доверенности, - не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок... я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. В последних словах было такое женское нетерпение, что Лермонтов невольно улыбнулся; к счастью, начинало смеркаться. Лермонтов ничего не отвечал…

Они часто гуляли вместе, подолгу уединяясь. Глаза Эмилии выражали неподдельное счастье. Лермонтову нравилась эта девушка с волшебными голубыми глазами. Рядом с ней он чувствовал себя спокойнее, душа его погружалась в мир приятных воспоминаний. Однажды вечером он ее крепко обнял. Она не сопротивлялась, губы их сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуи; ее руки были холодны как лед, голова горела. Тут между ними начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить… Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!..

- Ты знаешь, Мишель, я стала твоей рабой; я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию... О, я прошу тебя не мучь меня! Я не могу не думать о будущей жизни, я думаю только о тебе в ней. Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки, а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Лермонтов молчал. «Ах, лучше бы она этого не говорила! Снова намек на женитьбу… И к чему это женское лукавство?» - подумал он с грустью.

 Невольно на ум пришли недавно написанные стихи.

*И к мысли этой я привык,*

*Мой крест несу я без роптанья:*

*То иль другое наказанье?*

*Не все ль одно. Я жизнь постиг;*

*Судьбе как турок иль татарин*

*За все я ровно благодарен;*

*У Бога счастья не прошу*

*И молча зло переношу.*

*Быть может, небеса востока*

*Меня с ученьем их Пророка*

*Невольно сблизили. Притом*

*И жизнь всечасно кочевая,*

*Труды, заботы ночь и днем,*

*Все, размышлению мешая,*

*Приводит в первобытный вид*

*Больную душу: сердце спит,*

*Простора нет воображенью...*

*И нет работы голове...*

- Эмилия, дорогая, жизнь наша полна неожиданностей. – Наконец сказал он. - Трудно даже предположить, что она нам готовит уже завтра. Мне хорошо с тобой, и я не хочу задумываться о будущим. Бог знает, каким оно будет… У меня на душе какая-то тяжесть, которая постоянно преследует меня…

После короткой паузы Лермонтов начал читать тихим голосом:

 *… неведомый пророк*

 *Мне обещал бессмертье, и, живой,*

 *Я смерти отдал все, что дар земной.*

 *Но для небесного могилы нет.*

 *Когда я буду прах, мои мечты,*

 *Хоть не поймет их, удивленный свет*

 *Благословит; и ты, мой ангел, ты*

 *Со мною не умрешь: моя любовь*

 *Тебя отдаст бессмертной жизни вновь;*

 *С моим названьем станут повторять*

 *Твое: на что им мертвых разлучать?*

Лермонтов замолчал.

- Ты молчишь? - продолжала она, - ты, может быть, хочешь, чтоб я первая тебе сказала, что я тебя люблю?..

Он продолжал молчать...

- Хочешь ли этого? - продолжала она, обратясь к нему...

В решительности ее взора и голоса было что-то ему до сих пор неведомое…

Они молча попрощались…

Дома его встретил Столыпин.

- Мишель, - улыбаясь, сказал он, - похоже, ты здорово завис на Эмилии. Как далеко вы продвинулись во взаимной симпатии?

- Монго, не приставай… Мы едва поцеловались…

- На тебя это не похоже, Мишель. Я уж хотел позавидовать тебе. Другие были более удачливее с ней.

- Ты на что намекаешь?

- Ты и в самом деле ничего не знаешь? – рассмеялся Столыпин. – Да она тебе просто голову морочит, как и многим здесь, заманивая в свои сети. Девушке уже 26 лет, а о замужестве никто и не говорит. Был один, да ты его знаешь, князь Барятинский, который взял крепость приступом. От плода любви пришлось избавляться докторам, а от самой невесты двадцатью пятью тысячами рублей серебром.

- Это правда? Я ничего не знал!.. – растеряно сказал Лермонтов.

- Сам подумай, зачем мне тебе врать. Да об этом все знают.

- Спасибо, что предупредил… Ах, красная девица! Ах, невинность девичья!!! – с неприятной гримасой на лице воскликнул Михаил Юрьевич…

Утром Лермонтов встал поздно; возле колодца уже никого не было. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Он углубился в виноградную аллею, ведущую в грот; было грустно. Лермонтов думал об Эмилии и о том, что рассказал ему Столыпин. Размышляя, он подошел к самому гроту. В прохладной тени его свода, на каменной скамье он увидел сидящую женщину, в соломенной шляпке с опущенной головой; шляпка закрывала ее лицо. Он хотел уже вернуться, чтоб не нарушить ее мечтаний, но она взглянула на него. Это была Эмилия.

Она вздрогнула и побледнела.

- Я чувствовал, что ты здесь, - сказал Лермонтов, и сел возле нее.

- Стало быть, ты меня не любишь?.. – промолвила она грустно, как бы продолжая прерванный разговор.

Лермонтову вдруг захотелось сказать ей что-то неприятное, но он сдержался. Он взял ее руки в свои.

- Ты ведь знаешь, дорогая, что любовь, как огонь, - без пищи гаснет.

Она посмотрела на него влажными глазами.

- Ты требуешь от меня жертвы?.. Я готова тебе пожертвовать всем, что у меня есть, но только после…

- Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем...

Она выдернула свои рук, и щеки ее запылали.

Наступило долгое молчание.

 - Скажи мне, - наконец прошептала она, - тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий...

 Ее голос задрожал…

Любовь дразнила Лермонтова своим неизменно повторяющимся и каждый раз исчезающие подобием счастья. Он любил мстить женщинам за это постоянное раздражение. И вот теперь это счастье снова убегает от него...

Вернувшись домой, Лермонтов сел верхом и поскакал в степь; он любил скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; он забывал весь мир, носился как ветер, перескакивая с ловкостью горца через встречавшиеся на пути рвы, канавы и плетни, с жадностью глотал он благовонный воздух и устремлял взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Все товарищи его, кавалеристы, знатоки верховой езды, признавали и высоко ценили в нем столь необходимые, по тогдашнему времени, качества бесстрашного, лихого и неутомимого ездока-джигита. Верзилинские барышни не раз даже рукоплескали, когда он, проезжая мимо, перед их окнами ставил на дыбы своего «Черкеса» и заставлял его чуть не плясать лезгинку.

Во время таких прогулок, какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеивалось; на душе становилось легко, усталость тела побеждала тревогу ума. Все забывалось при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба, внимая шуму потока, падающего с утеса на утес…

Потом он решил подняться в горы. Вокруг было тихо - на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошади, воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространялось по всем жилам всадника, и было как-то весело от того, что он так высоко над миром: чувство детское, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда, и, верно, будет когда-нибудь опять.

«Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины» - подумал Лермонтов.

Вечером они с Столыпиным снова были у Верзилиных. Общество гостей было многолюдным. Здесь были только что приехавшие князь Васильчиков, молодой юрист, сын председателя Государственного Совета России, который в качестве чиновника II Отделения его императорского величества канцелярии был командирован на Кавказ для участия в сенаторской ревизии, Николай Мартынов, Лев Пушкин, Сергей Трубецкой, князь Долгорукий…

Увидя друг друга, Лермонтов и Мартынов бросились в объятия.

- Мартышкин, наконец-то ты появился. Очень рад тебя видеть. Я многих спрашивал, но никто толком не мог мне сказать, когда ты вернешься из Кисловодска.

- И я рад тебя видеть, Маешка, - с улыбкой отвечал Мартынов. - Ты, говорят, эти дни без меня ужасно волочился за Розой Кавказа?

Они по-дружески обменялись прозвищами, которые получили еще в Школе подпрапорщиков.

- Где нам, дуракам, чай пить! - ответил ему Лермонтов. – Разве за тобой можно угнаться?..

- Постой, постой! – сказал Лермонтов, оглядывая странный наряд и вид Мартынова.

Тот выглядел как какой-нибудь дикарь: отрастил огромные бакенбарды, на нем был черкесский костюм, в нахлобученной белой папахе и с огромными двумя кинжалами на поясе, опускавшимися ниже колен.

- Мартынов, ты выглядишь, как два черкеса. Я теперь буду называть тебя Горец с Большим кинжалом.

Все заулыбались, и только Мартынов с вдруг изменившимся мрачным видом выдавил из себя:

- Как ты любишь давать всем прозвища, Лермонтов. В твои-то лета пора бросать мальчишество. А потом, кому-то это может не очень нравиться.

- Ты что обижаешься, Мартышкин? – спросил его Лермонтов с улыбкой.

Михаил Юрьевич был весьма чуток к пошлости и не любил ее.

Мартынов обернулся к Эмилии, сделав вид, что он не услышал вопроса.

Николай Соломонович Мартынов был человеком бесхарактерным и всегда находившимся под чьим-то влиянием, не отличался большим развитием. Вместе с тем он был щепетильно-самолюбивым, имевшим о себе завышенное мнение и считавшим себя лицом значительным, выдающимся. Интересовался литературой и сам пописывал стишки. Он мечтал о чинах и орденах, и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. Но был изгнан из армии за трусость в чине всего лишь майора, не имел никакого ордена и других наград. Для дам он представлял интерес: блондин, высокого роста, недурно пел под фортепьяно романсы.

К прозвищу Мартышка он привык еще с юнкерской школы, где Лермонтов насмешничал и злее, и настырнее. Но тогда, в юнкерские годы, у Мартынова не было основания завидовать Лермонтову. А теперь – были. И завидовал он не успехам своего друга в дамском обществе. Тут Николай Соломонович был уж слишком в себе уверен. И даже не литературной славе – на нее он, в общем-то, и не претендовал. Отставной майор Николай Мартынов завидовал, и, видимо, мучительно, - пламенной храбрости поручика Лермонтова, его репутации отличного боевого офицера.

Его внимание к Эмилии имело вполне практический интерес. Ему казалось, что женившись на ней, на дочери генерала, протекция будет обеспечена. Красавица–жена и протекция тестя, бывшего наказного атамана Кавказского казачьего войска, могли поставить вновь на ноги его, отставного майора.

Весь вечер Мартынов не отходил от Эмилии. Было видно, что ей льстило его внимание. Она оказывала ему знаки внимания. Трудно сказать, было ли это искренне или она пыталась задеть самолюбие Михаила Юрьевича.

В какой-то момент Мартынов подошел к сидящему за столом Лермонтову.

- Мишель, - заговорщицки обратился он к Лермонтову, - знаешь ли, что ты нынче ужасно рассердил Эмилию? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о себе самого высокого мнения.

- И она поделилась предметом нашего разговора?.. А потом, ты же знаешь, она не ошибается по отношению ко мне... Не хочешь ли ты за нее вступиться?

- Нет, я еще не имею на это права...

- Вот как?! Смотри, Мартышкин, не обожгись…

Улучшив минуту, когда отвлекся Мартынов, Лермонтов подошел к Эмилии.

- Я слышал, что, будучи едва знакомыми, я имел уже несчастье заслужить твою немилость... что ты меня нашла дерзким... неужели это правда?

- И тебе бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? - отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень подходила к ее подвижной физиономии.

- Если я имел дерзость тебя чем-нибудь оскорбить, то позволь мне иметь еще большую дерзость просить у тебя прощения... И, право, я бы очень желал доказать тебе, что ты насчет меня ошибалась...

- Тебе это будет довольно трудно...

- Отчего же?

Она молчала.

- Знаешь, - продолжил Лермонтов с некоторой досадой, - никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее... и тогда...

- Ты странный человек! - сказала она потом, подняв на него свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись…

В продолжение вечера Лермонтов еще несколько раз старался привлечь к себе внимание Эмилии, но она довольно сухо встречала эти попытки.

К концу вечера у Лермонтова испортилось настроение. Он был в странном расположении духа: то грустен, то вдруг становился он желчным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружавшем. Разговаривая со Львом Пушкиным, он часто повторял:

- Чувствую, мне очень мало осталось жить…

После вечеринки Лермонтов долго сидел в задумчивости дома за столом. «Всё для нас в мире тайна, - думал он, - и тот, кто надеется отгадать чужое сердце или знать все подробности жизни своего лучшего друга, горько ошибается. Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, и они-то самые важные и есть, они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам…»

Большая часть тех, кто окружал Лермонтова, даже, кто был связан с ним родством, говорили о нем как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам. Но люди гордившиеся дружбой с Лермонтовым, кому удавалось пробить ледяную оболочку, проникнуть под личину суровости, родившейся в нем отчасти вледствие огорчений детства и молодости, находили там сокровища любви, таившиеся в этой богатой натуре.

 Уже поздно вечером, почти ночью, Лермонтов записал в своем альбоме:

 *Никто не дорожит мной на земле,*

 *И сам себе я в тягость, как другим;*

 *Тоска блуждает на моем челе.*

 *Я холоден и горд; и даже злым*

 *Толпе кажуся; но ужель она*

 *Проникнуть дерзко в сердце мне должна?*

 *Зачем ей знать, что в нем заключено?*

 *Огонь иль сумрак там - ей все равно.*

На следующий день, после пития воды и принятия ванн, Лермонтов поскакал на своем Черкесе в горы, чтобы подышать прохладой и развеяться. Было уже шесть часов пополудни, когда он вспомнил, что пора обедать; лошадь его была измучена; он выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит на пикники. Дорога извивалась между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекали шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышались синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустившись в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии балками, он остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь черкесского с нижегородским; впереди ехал Мартынов.

Эмилия ехала с сестрой Надеждой несколько поотстав от кавалькады всадников. Лермонтов подъехал к ним сзади так, что они этого не ожидали. Но когда Лермонтов поравнял свою лошадь с лошадью Эмилии, она ударила ее хлыстом и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что Лермонтов едва мог ее догнать, и то, когда она уже присоединилась к остальному обществу. До самого дома она держалась в стороне от Михаила Юрьевича, говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное. Все заметили эту необыкновенную веселость, которую можно было объяснить просто нервическим припадком…

Подобной реакцией Эмилии в нем было оскорблено одно самолюбие, а не сердце, - самая слабая часть мужчины, подобная пятке Ахиллеса, и по этой причине оно в этом сражении оставалось вне ее выстрелов. Лермонтов вызывал на бой ее ненависть, чтобы увериться, так же ли она будет недолго временна, как любовь ее, - и он достиг своей цели. Ее чувства взволновались, ее мысли смутились, первое впечатление было сильное, а от первого впечатления зависело всё остальное: он это знал и знал также, что самая ненависть ближе к любви, нежели равнодушие.

Увлекаясь сам наружной красотою и обладая умом резким и проницательным, Лермонтов умел смотреть на себя с беспристрастием и, как обыкновенно люди с пылким воображением, преувеличивал свои недостатки. Убедившись по собственному опыту, как трудно влюбиться в одни душевные качества, он сделался недоверчив и приучился объяснять внимание или ласки женщин - расчетом или случайностью. То, что казалось бы другому доказательством нежнейшей любви, - принимал он часто как приметы обманчивые, слова, сказанные без намерения, взгляды, улыбки, брошенные на ветер, первому, кто захочет их поймать; другой бы упал духом и уступил соперникам поле сражения... но трудность борьбы увлекает упорный характер, и Лермонтов дал себе честное слово остаться победителем: следуя системе своей и вооружась несносным наружным хладнокровием и терпением, он мог бы разрушить лукавые увертки самой искусной кокетки... Он знал аксиому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильным и непреклонным, следуя какому-то закону природы, доселе необъясненному; можно было, наверное, сказать, что он достигнет своей цели... если страсть, всемогущая страсть не разрушит, как буря, одним порывом высокие подмостки его рассудка и старание... Но это если, это ужасное если, почти похоже на если Архимеда, который обещался приподнять земной шар, если ему дадут точку опоры…

Через несколько дней был назначен бал в ресторации Найтаки. Зала ресторации превратилась в залу Благородного собрания. Генеральша Верзилина явилась с дочерями; многие дамы смотрели на Эмилию с завистью или с недоброжелательством, потому что она одевалась со вкусом.

Мартынова еще не было видно, и Лермонтов подошел к Эмилии, приглашая ее вальсировать.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид: она небрежно опустила руку на его плечо, наклонила слегка головку набок, и танец начался. Лермонтову нравилось обнимать ее талию, удивительно сладострастную и гибкую. Ее свежее дыхание касалось его лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке Михаила Юрьевича... Они сделали три тура. Эмилия вальсировала удивительно хорошо. Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое: «Merci, monsieur».

Появился Мартынов. Он, как всегда, был в черкеске и с кинжалами. Мартынов сразу же пригласил Эмилию на мазурку. Мазурка началась. Мартынов приглашал только Эмилию. Другие кавалеры тоже ее выбирали; это было похоже на заговор против Лермонтова.

«Тем лучше: ей хочется говорить со мной, ей мешают, - ей захочется вдвое более» - подумал он.

Лермонтов покинул зал и вышел во двор покурить. К нему присоединился и Мартынов.

- Скажи-ка, Мишель, хорошо на мне сидит моя черкеска?.. Ох, проклятый жид!.. как под мышками режет!..

- Шинель тебе больше к лицу, Горец с большим кинжалом.

- Брось ты эти шутки! Послушай, - продолжил Мартынов очень важно,- пожалуйста, не подшучивай над моей любовью к Эмилии, если хочешь остаться моим приятелем... Я ее люблю до безумия... и я думаю, я надеюсь, она также меня любит...

- Боюсь, что она никого не любит, и водит нас, дураков, за нос, сталкивая лбами. Она с удовольствием будет наблюдать за нашими ухаживаниями.

- Мишель, ты к ней не справедлив.

- Дай бог, чтобы я ошибался, смеясь, сказал Лермонтов.

Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на лице Мартынова; его праздничная наружность, его гордая походка едва не вызывала у Лермонтова смех, но он сдержался.

Лермонтов возвратился в залу очень доволен собой. Люди подобные Мартынову забавляли его. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, - вот что такое жизнь в скучном Пятигорске.

Эмилия сидела одна в кресле. Лермонтов заметил, что ее лицо приняло какой-то полухолодный, полугрустный вид, и что-то похожее на слезу пробежало, блистая, вдоль по длинным ее ресницам, как капля дождя, забытая бурей на листке березы, трепеща перекатывается по его краям, покуда новый порыв ветра не умчит ее - бог знает куда.

Лермонтов с удивлением взглянул на нее... но увы! он не мог ничем объяснить этот странный припадок грусти!

- Эмилия, ты грустишь? Кругом все веселятся…

- О нет! - И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что Лермонтов дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку. - Мишель, я вижу, ты ничего не понимаешь… Ты сомневаешься в моем добром отношении к тебе.

- Я люблю сомневаться во всём: это расположение ума не мешает решительности моего характера - напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперёд, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится - а смерти не минуешь!

- Ах, ты опять о смерти… Я не хочу об этом думать…

- А ты больше думаешь о Мартынове?

- Он глуп и смешон…

- Мне показалось, что до сих пор он был для тебя весьма приятен.

В это время к ним подошла генеральша Верзилина.

- Эмилия, мы едем домой. Ждем тебя у подъезда.

- Прощай, Мишель!

Лермонтов поклонился и поцеловал ее руку.

В эту минуту он встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее дрожала; щеки пылали.

«Кто объяснит, кто растолкует очей двусмысленный язык... Нет, что ни говори, а женщина остается загадкой, - подумал Лермонтов, - но только не Эмилия, она явно переигрывает свою роль».

Подошел Мартынов.

- Мишель, ты не видел Эмилию?

- Она только что собиралась домой. Торопись, если хочешь ее увидеть. Смотри, чтоб тебя не предупредили...

- В самом деле? - сказал он, ударив себя по лбу. - Прощай... пойду дожидаться ее у подъезда.

Лермонтов с улыбкой какого-то сострадания к другу посмотрел во след его удаляющейся фигуры.

В Пятигорске в ежедневном общении с окружающими его людьми Лермонтов обнаруживал в некоторых их внутреннюю пустоту, бездуховность и ожесточенность, способность бросить камень в любого, кто не согласен с их представлениями о жизненных ценностях. Беззаботные, пустые и напыщенные сплетники, составлявшие «водяное общество», раздражали его, выводили из состояния равновесия, приносили боль. Все это заставляло Лермонтова зло высмеивать их серость и бездуховность.

*Он метил в умники, попался в дураки,*

*Ну, стоило ли ехать для того с Оки!*

Или другое.

*Не утаил себя никак -*

*Бранится пошло: ясно немец,*

*Похвалит: видно, что поляк.*

Доставалось и ближайшему его окружению. О князе Александре Васильчикове, который представлял тех самых “надменных потомков”, он не мог не сочинить экспромты:

*Велик князь Ксандр и тонок, гибок он,*

*Как колос молодой,*

*Луной сребристой ярко освещен,*

*Но без зерна — пустой.*

*Наш князь Василь-*

*Чиков – по батюшке,*

*Шеф простофиль,*

*Глупцов – по дядюшке,*

*Идя в кадриль,*

*Шутов – по зятюшке,*

*В речь вводит стиль*

*Донцов – по матушке.*

Тексты были написаны на ломберном столе во время вечеров в доме Верзилиных. Многие их прочитали и цитировали. Все, кто знал родословную князя, его семьи, понимали на что намекал Лермонтов. “Князь по батюшке” был намеком на получение княжеского достоинства отцом Васильчикова в обход закона, по воле царя за преданность Васильчикова-старшего. “Шутов по зятюшке” намекало на мужа сестры Васильчикова, полковника Лужина, карьериста, прозванного шутом...

Князь, узнав об экспромтах, затаил на Лермонтова сильную обиду.

Захваченный атмосферой скуки и безисходности Лермонтов принял игру Эмилии, как забаву в однообразной курортной жизни. Иногда эта игра вызывала у него злобу, ему хотелось сделать что-то неприятное, оскорбительное. Психологически он не воспринимал жеманных кокеток, порядком надоевших ему в Москве и Петербурге. Вот и сегодня, когда он собирался отправиться к источнику, его увидела Эмилия. Она сидела на лошади в окружении молодых людей, готовых к конной прогулке. Фигура ее была опоясана черкесским хорошеньким кушаком, на котором висел маленький, самой изящной работы черкесский кинжальчик. Вынув его из ножен и показывая Лермонтову, она спросила его:

- Мишель, не правда ли, хорошенький кинжальчик?

- Да, очень хорош… Им особенно ловко колоть детей, - ответил Лермонтов с злорадной улыбкой, намекая этим язвительным и дерзким ответом на известные обстоятельства ее отношений с князем Барятинским.

Для красного словца Лермонтов, как говорится, не жалел ни матери, ни отца.

Эмилия все поняла, она вспылила, глаза ее наполнились слезами и ненавистью.

- Какой же ты жестокий, Мишель, - проговорила она зло. – Ежели бы я была мужчина, я бы не вызвала тебя на дуэль, а убила бы из-под угла в упор.

- Смерть от твоей руки я бы принял как милость, - продолжая улыбаться, ответил Лермонтов.

Она пришпорила своего коня, и вся группа умчалась в сторону гор.

Лермонтов в невеселых раздумьях стал спускаться бульваром к источнику. За эти неполные два месяца он стал знаменит и узнаваем в Пятигорске. Слава о нем довольно быстро распространилась. Многие его полюбили, некоторые побаивались острого языка и сторонились. Его появлению у источника всякий раз предшествовал шепот: «Лермонтов идет!», и все умолкали, все прислушивались к каждому его слову, к каждому звуку его речи. И хотя на водах были люди с положением и в чинах, но, как бы по взаимному соглашению, боясь попасть ему на зубок, все они сторонились и уступали ему дорогу. Никто из них публично спорить с ним не дерзал, и ограничивались дружескими приветствиями и светскими разговорами. На бульваре и около источников его окружала толпа и старалась поймать на лету каждое брошенное им острое слово, чтобы потом рассказывать и повторять его у своих знакомых. Молодежь его любила и готова была идти за ним всюду, исполняя все его капризные желания. И Лермонтов это понимал, принимая знаки внимания с подобающим отношением.

Небольшая деревянная терраса, увитая плющом. На террасе стол, заваленный бумагами. На столе догорает свеча. Дверь с террасы в комнату открыта.

Раннее утро – то время, когда солнце уже взошло, но на небе еще сверкает луна. Солнце освещает косыми лучами заросли сада. Оно просвечивает через листву сотнями разноцветных – то зеленых, то пурпурных, то золотых – пятен. Утренняя тишина.

Из комнаты на террасу выходит Лермонтов. Он в белоснежной рубахе. Над дверью висит ветка винограда. Лист винограда задевает Лермонтова по лицу. Лермонтов останавливается, осторожно трогает лист рукой и рассматривает его.

- Листик, ты весь в росе, - тихо говорит Михаил Юрьевич.

Из другой комнаты раздается голос Столыпина.

- Миша, ты не спишь?

- Нет, Монго. Я еще не ложился.

- Все писал?

- Да. Какой-то бес поэзии вселился в меня. Он не дает мне отдыха. Монго, здесь, на террасе, как будто внутри зажженной елки?

Лермонтов показывает на разноцветные солнечные пятна.

- Если бы ты знал, какое время я переживаю… Самое прекрасное! Окружающее так трудно поймать словами. Но сейчас это неуловимое стало для меня таким ясным, что я с легкостью переношу его в слова.

- Я не точно тебя понимаю, Миша.

Лермонтов рассмеялся и продолжил.

- До сих пор у меня был один только настоящий друг – ты, Монго. Помнишь, я когда-то посвятил тебе целую поэму.

*Монго - повеса и корнет,*

*Актрис коварных обожатель,*

*Был молод сердцем и душой,*

*Беспечно женским ласкам верил*

*И на аршин предлинный свой*

*Людскую честь и совесть мерил.*

*Породы английской он был —*

*Флегматик с бурыми усами,*

*Собак и портер он любил,*

*Не занимался он чинами,*

*Ходил немытый целый день,*

*Носил фуражку набекрень;*

*Имел он гадкую посадку:*

*Неловко гнулся наперед,*

*И не тянул ноги он в пятку,*

*Как должен каждый патриот.*

*Но если, милый, вы езжали*

*Смотреть российский наш балет,*

*То, верно, в креслах замечали*

*Его внимательный лорнет…*

А сейчас у меня появилось много друзей. Вот этот лист винограда – смотри! – каждый раз, когда я выхожу из комнаты, он задевает меня по лицу, и в этом прикосновении столько ласки и тихого напоминания о себе, что я улыбаюсь ему, как своему старому другу.

- Странные мысли приходят тебе в голову, Миша.

- По утрам я часто езжу в горы, Монго.

- Я знаю.

- И порой мне кажется, когда я смотрю с поворота дороги на цепи гор и долины, что весь мир сделан из чистого и звонкого стекла. Я часами могу смотреть, как облака курятся над вершинами. Среди камней и цветов журчат родники. Как-то в горах я попал внутрь радуги. Это ощущение неслыханное. Я был окружен мириадами водяных алмазов, игравших всеми цветами, существующими на земле. Я был как бы внутри алмазного водопада. Вот то же примерно я ощущаю, когда, как принято говорить, мною овладевает демон поэзии. Я так же ощущаю жизнь. Ты пил когда-нибудь на рассвете родниковую воду? У нее привкус счастья, Монго. Ты не смейся. Так редко земля кажется мне праздником. Может быть, потому, что какая-то смутная и счастливая буря замыслов бушует во мне в последнее время. Иногда мне даже страшно, Монго.

- Чего ты страшишься, Миша?

- Своей силы. Как будто мне приказали поймать на лету все капли дождя, услышать все неисчислимые звуки земли, узнать все движения человеческих сердец и передать все это в стихах и поэмах. Я устаю от бесчисленных находок и волнений. Да ты не поймешь этого, Монго. Временами я вижу огромные эпохи в жизни людей, в жизни России так ясно, как если бы я сам был их участником. Временами я ощущаю, что жизнь моя заканчивается, и мне не успеть всего, что задумал. Сегодня ночью я написал стихотворение, послушай. Лермонтов взял альбом со стола и начал читать:

*Наедине с тобою, брат,*

*Хотел бы я побыть:*

*На свете мало, говорят,*

*Мне остается жить!*

*Поедешь скоро ты домой:*

*Смотри ж... Да что? моей судьбой,*

*Сказать по правде, очень*

*Никто не озабочен.*

*А если спросит кто-нибудь...*

*Ну, кто бы ни спросил,*

*Скажи им, что навылет в грудь*

*Я пулей ранен был;*

*Что умер честно за царя,*

*Что плохи наши лекаря*

*И что родному краю*

*Поклон я посылаю.*

*Отца и мать мою едва ль*

*Застанешь ты в живых...*

*Признаться, право, было б жаль*

*Мне опечалить их;*

*Но если кто из них и жив,*

*Скажи, что я писать ленив,*

*Что полк в поход послали*

*И чтоб меня не ждали.*

*Соседка есть у них одна...*

*Как вспомнишь, ка́к давно*

*Расстались!.. Обо мне она*

*Не спросит... все равно,*

*Ты расскажи всю правду ей,*

*Пустого сердца не жалей;*

*Пускай она поплачет...*

*Ей ничего не значит!*

Столыпин надолго замолчал, пораженный услышанным. Он думал о невероятной силе последних стихов Мишеля и удивлялся растущему гению его таланта. Как его уберечь от необдуманных шагов, которые все чаще дают о себе знать?..

Мартынов входил в моду. Он стал первым франтом. Каждый день носил переменные черкески из самого дорогого сукна и все разных цветов: белая, черная, серая и к ним шелковые архалуки такие же или еще синие. Папаха самого лучшего каракуля, черная или белая. И всегда все это было разное, - сегодня не надевал того, что носил вчера. Рукава черкески засучивал выше локтя. Это настолько казалось оригинальным, что обращало на себя общее внимание: точно он готовился каждую минуту схватиться с кем-нибудь. Он всеми силами старался обворожить Эмилию.

На очередной вечеринке у Верзилиных, на которой собралось много молодежи, Мартынов явился во всей красе. Уделял он внимание не только Эмилии, но и пытался ухаживать за ее младшей сестрой Надеждой.

- Не правда ли, Надюша, какой сегодня жарким был день? Даже сейчас еще душно.

- Это от того, Николай Соломонович, что вы тепло одеты.

- Да, Надюша, ты права, - отозвался Лермонтов, стоявший рядом. – Особенно тому способствует кинжалы, висящие ниже колена.

*Скинь бешмет свой, друг Мартыш,*

*Распояшься, сбрось кинжалы,*

*Вздень броню, возьми бердыш*

*И блюди нас, как хожалый!*

Прозвучавший экспромт вызвал хохот присутствующих.

Мартынова передернуло, особенно от “хожалого”, но смолчал, отделавшись вымученной улыбкой.

В этот вечер настроение Лермонтова было желчным. Мысль о скорой смерти постоянно его преследовала и мучила…

 Возле Эмилии собралась кучка молодежи, которая сыпала остротами, пытаясь обратить внимание красавицы. Кроме Эмилии, здесь были и ее две сестры. Лермонтов подошел к веселой компании, вслушиваясь в общий разговор. Постояв несколько минут, и громко прочитал очередной экспромт.

*За девицей Emilie*

*Молодежь как кобели.*

*У девицы же Nadine*

*Был их тоже не один;*

*А у Груши в целый век*

*Был лишь Дикой человек.*

Вся компания не сдержала смеха. Присутствовавший здесь Глебов, просмеявшись, сказал, обращаясь к Лермонтову:

- Мишель, ты сегодня я вижу не в духе, у тебя какой-то черный юмор.

- Ничего удивительного, Глебов, - отозвалась Эмилия. – Просто Мишель сердится за мое невнимание к нему.

Лермонтов, как будто бы и не слышал этих слов, прочитал еще один экспромт.

*Милый Глебов,*

*Сродник Фебов,*

*Улыбнись,*

*Но на Наде,*

*Христа ради,*

*Не женись!*

Снова грохнул дружный смех.

- Спасибо, Мишель за совет, - покраснев, сказал Глебов, - постараюсь последовать твоему совету, хоть сделать это очень не просто.

- Я слышу, - подал голос Мартынов, - Мишель раздает мудрые советы. Пребывание на Востоке не прошло для него зря, он стал мудр, как мулла. Вот только почему до сих пор не в мечете?

Лермонтов уловил в голосе Мартынова некую издевательскую нотку.

- Да, ты прав, Мартышкин, но куда нам до тебя.

*Он прав! Наш друг Мартыш не Соломон,*

*Но Соломонов сын,*

*Не мудр, как царь Шалима, но умен,*

*Умней, чем жидовин.*

*Тот храм воздвиг, и стал известен всем*

*Гаремом и судом,*

*А этот храм, и суд, и свой гарем*

*Несет в себе самом.*

Прочитанный экспромт вызвал гомерический смех. Мартынов был взбешен, но промолчал. Лермонтов заметил это.

- Если кто-то расстроился из-за моих глупых экспромтов, пусть напишет на меня, и мы вместе посмеемся, - сказал с веселой улыбкой Лермонтов.

- Миша, - подойдя к нему, почти шепотом обратился Столыпин, - ты сегодня, я вижу, в ударе, но зачем ты настраиваешь против себя Мартынова и других. Тебе мало врагов?

- Монго, не могу спокойно смотреть на глупые рожи. Все обойдется, не волнуйся.

Князь Сергей Трубецкой повел разговор на тему «о пире жизни» и высказал мысль, что пир этот надо уметь продолжить как можно долее и окончить, когда вино все будет выпито. Лермонтов, выслушав, покрутил ус и ответил на это:

*Смело в пире жизни надо*

*Пить фиал свой до конца.*

*Но лишь в битве смерть — награда,*

*Не под стулом, для бойца.*

Трубецкой был в восторге, зааплодировали и другие гости…

Начались танцы. Лермонтов сел в уголок и начал что-то рисовать. Лев Пушкин, заглянув чрез плечо Михаила Юрьевича, расхохотался. На рисунке был изображен Мартынов с кинжалами, стоящим на коленях перед Эмилией. Подойдя, заинтересовавшись веселостью Пушкина, расхохотались и другие.

Мартынов, глянув на рисунок, молча удалился с каменным лицом.

Шалуны товарищи через несколько дней завели целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообща начертали и раскрасили их. Это была целая история в лицах вроде французских карикатур… Конечно, обидно, когда видишь себя на карикатуре, изображенным в мундире с газырями и с огромным кинжалом, сидящим на ночном горшке.

Остроты и карикатуры Лермонтова злили Мартынова, и он имел право отвечать тем же, но… на остроумный ответ таланта не хватало. Карикатуры беспрестанно прибавлялись. На одном из них был изображен Мартынов, въезжающий в Пятигорск на лошади, а вокруг стоят восхищенные дамы; на другом – огромного роста Мартынов с гигантским кинжалом до самой земли объясняется в любви миниатюрной Надежде Верзилиной, на поясе которой маленький кинжальчик; еще на одном Мартынов был изображен в сидячем положении, державшегося обеими руками за ручку кинжала и объясняющегося в любви, придав корпусу то положение и выражение, которое получает он при испражнении…

 В своих шаржах Лермонтов изображение Мартынова довел до такой простоты и схематизма, что просто рисовал характерную кривую линию, пересеченную ниже ее середины другой линией. Эта вторая линия вроде бы обозначала кинжал; правда, кое-кто считал, что не только кинжал… В карикатурах Лермонтова кинжал приобретал весьма пикантное и двусмысленное значение.

Тем временем Эмилия, на что-то рассердившись, с возмущением покинула компанию молодых людей и пересела ближе к Лермонтову. Экспромт не заставил себя ждать. Лермонтов встал и громко прочитал:

*Зачем, о счастии мечтая,*

*Ее зовем мы: гурия?*

*Она, как дева, - дева рая,*

*Как женщина же - фурия.*

Раздался дружный хохот, бросивший Эмилию в краску. Она с нескрываемой ненавистью посмотрела на автора.

- Ты стал несносным, Мишель.

- Но это всего лишь невинная шутка, мадмуазель Верзилия - оправдывался Лермонтов с извиняющейся улыбкой.

Прозвище «Верзилия», придуманное Лермонтовым только что, еще больше развеселило гостей…

Продлившийся их разговор был наполнен злословием: Лермонтов стал перебирать присутствующих и отсутствующих знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчное настроение вернулось к нему. Он начал шутя - и кончил искренней злостью. Сперва это Эмилию слегка забавляло, а потом испугало.

- Ты опасный человек, Мишель! - сказала она. - Я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем тебе на язычок... Я прошу не шутя: когда тебе вздумается обо мне говорить дурно, возьми лучше нож и зарежь меня.

- Разве я похож на убийцу?..

- Ты хуже...

Толпа разных мыслей осаждала ум Лермонтова. Настроение испортилось.

- Отчего ты сделался так печальным? – спросила, наконец, у него Эмилия.

- Причину даже совестно объявить, - отвечал Лермонтов...

- Однако ж!..

- Зависть!..

- Кому ж ты завидуешь?.. например...

Лермонтову тотчас пришло в мысль, что Эмилия рассказала Мартынову о его прежней детской любви к ней, о его недавнем ухаживании. Если так, то всё было кончено между ними. Лермонтов не хотел стать предметом насмешки для них или жертвою коварного заговора… Все это пришло ему в голову именно теперь…

- Какая разница… Я бы желал иметь счастливый дар нравиться всем с первого взгляда и обо всем забывать...

- Поверьте, - отвечала Эмилия, - кто скоро нравится, об том скоро и забывают.

- Боже мой! что на свете не забывается?.. и если считать ни во что минутный успех - то где же счастье? Добиваешься прочной любви, прочной славы, прочного богатства... глядишь... смерть, болезнь, пожар, потоп, война, мир, соперник, перемена общего мнения - и все труды пропали!.. а забвенье? - забвенье равно неумолимо к минутам и столетиям. - Если б меня спросили, чего я хочу: минуту полного блаженства или годы двусмысленного счастья... я бы скорей решился сосредоточить все свои чувства и страсти на одно божественное мгновенье и потом страдать сколько угодно, чем мало-помалу растягивать их и размещать по номерам в промежутках скуки или печали.

- Я во всем с тобой согласна, кроме того, что всё на свете забывается - есть вещи, которых забыть невозможно... особенно горести или унижения.

 Даже очень вероятно, что чувства Эмилии в эту минуту относились вовсе не к нему - мало ли могло быть у нее обожателей; может быть ей изменил который-нибудь из них, - как знать!.. В эту минуту все стало неважным.

 - Я решил тебе сказать сейчас всю истину, - ответил через несколько минут Лермонтов, - не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; я любил тебя в детстве, и это чувство живет во мне… Но сейчас я тебя не люблю...

Ее губы слегка побледнели...

- Оставь меня, - сказала она едва внятно.

Лермонтов пожал плечами, повернулся и ушел…

Покинув комнату, где он играл в штосс, Мартынов застал Эмилию с грустным выражением лица. На глазах блестели слезы.

- Почему грустим? – с участием в голосе спросил Мартынов.

- Если бы я была мужчиной, я бы вызвала эту гадину на дуэль и убила, - зло ответила Эмилия.

- Кто тебя так рассердил?

- Николя, не прикидывайся, ты прекрасно знаешь, что это Лермонтов. Я с удивлением замечаю, что у вас, у мужчин, напрочь отсутствует самолюбие. Он сегодня весь вечер издевался над вами, а вы делали вид, что ничего не происходит…

- Дорогая, это ведь Лермонтов… Он всегда был таким, я его знаю еще со Школы юнкеров. Потом он мне друг. Стоит ли обращать внимание на его выходки?

- Выходки? Да ты просто трус, Мартынов. Как ты можешь признаваться в любви, если не способен заступиться за женщину?

- Любовь – это чувство взаимное. Пока что я этого не ощущаю, а значит, и не имею права кого-либо защищать на дуэли.

- Я бы выполнила любое желание мужчины, если бы он согласился заставить замолчать эту гадину Лермонтова! – бросила свой последний козырь Эмилия.

Мартынов какое-то время молчал с выражением удивления на лице.

- Чем же он тебя так обидел?

- Я не могу это произнести вслух… А ты видел свое изображение сидящим на горшке?

- Мое изображение? На горшке?.. Ты видела?..

- И не только…

- Постой, постой… Это меняет дело… Это уже выходит за рамки приличия…

Лицо Мартынова стало бледным.

- Я подумаю над твоим предложением, надеюсь, ты сдержишь слово… - через минуту раздумий продолжил Мартынов.

Он откланялся и ушел.

 На одном из обедов на квартире Лермонтова и Столыпина, Михаил Юрьевич неожиданно выступил с предложением:

- Господа, скучно мы живем. Почему бы нам не устроить бал?

- Идея хорошая. Но где и на какие средства? – поинтересовался князь С.Трубецкой.

- Парк Цветник, чем не место? А деньги можно собрать по подписке, - ответил Лермонтов.

- А что? Идея хороша, да и место подходящее, - поддержал Михаила Юрьевича Монго и А.Арнольди.

К идее присоединились другие гости.

Парк Цветник был разбит в центре города. Именно здесь находились основные минеральные источники и ванны, а по вечерам разгуливало «водяное общество». Одним из украшений парка был грот Дианы, сооруженный почти десять лет назад архитекторами братьями Бернардацци. А на одном из уступов Машука они построили великолепную каменную беседку «Эолова арфа». Внутри беседки находился футляр с укрепленными на нем двумя арфами. Футляр соединялся с флюгером на ее крыше и поворачивался от действия ветра, струны арф при этом издавали гармоничные звуки.

Лермонтов стал во главе затеи, ему помогали другие. За несколько дней деньги были собраны. В квартире Лермонтова делались все приготовления. Местом торжества избрали грот Дианы. Для освещения грота склеили до 2000 разных цветных фонарей. Лермонтов придумал громадную люстру из трехъярусно помещенных обручей, обвитых цветами. Армянские лавки доставили на прокат персидские ковры и разноцветные шали для украшения свода грота. Пятигорский полк снабдил красным сукном, а Найтаки позаботился о десерте, ужине и вине.

Площадку для танцев устроили так, что она далеко выходила за пределы грота. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив их в центре в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом. Стены обтянули персидскими тканями, повесили искусно импровизированные люстры. На деревьях аллей, примыкающих к площадке, горели 2000 разноцветных фонарей. Музыка, помещенная и скрытая над гротом, производила необыкновенное впечатление.

От грота лентой извивалось красное сукно до изящно убранной палатки – дамской уборной. По другую сторону вел устланный коврами путь к буфету.

Небо было в этот вечер бирюзовое с легкими небольшими янтарными облачками, между которыми мерцали звезды. Была полная тишина – ни один листок не шевелился.

Густая пестрая толпа зрителей обступила импровизированный танцевальный зал.

Праздник начался. Все весело танцевали не жалея ног. Лермонтов танцевал необыкновенно много. Здесь была его знакомая - Ида Мусина-Пушкина, двоюродная сестра княгини Марии Щербатовой. С нею Лермонтов познакомился еще в 1839 году у Софьи Карамзиной. В Пятигорске она с мамой, генеральшей Орловой, и сестрами поселилась по соседству с Лермонтовым и Столыпиным. Это была очаровательная молодая девушка с волшебными черными глазами, осененными длинными ресницами и темными, хорошо очерченными бровями, она не могла оставить равнодушным всякого. Михаилу Юрьевичу она очень нравилась, тем более, что Ида была очень похожа на Марию Щербатову. Лермонтов в этот вечер много ухаживал за Мусиной-Пушкиной. Во время танца случилось небольшое происшествие - над ней загорелся фонарик, но Лермонтов его успел сорвать, не дав упасть на голову Иды.

- Мишель, как я тебе благодарна! – сказала Ида. – Ты спас меня и мою прическу от пожара.

- Я здесь, кажется, главный, и отвечаю за твою безопасность. Ты может быть, не поверишь, но я очень рад, что ты здесь на этом празднике. Хочу, чтобы он продолжался вечно!..

- Ах, Мишель, ты остаешься все тем же фантазером, и я рада видеть тебя. Ты сегодня великолепно танцуешь. Пойдем, потанцуем! – весело улыбнувшись, ответила Ида.

И они снова пошли в круг. Танцевали по песку, не боясь испортить обувь...

Праздник удался на славу. Все были в восторге. Начали расходиться только с восходом солнца.

Лермонтов провожал домой свою дальнюю родственницу Катеньку Быховец. Он с ней был дружен, и все в Пятигорске ее называли «очаровательная кузина Лермонтова». Лермонтов в ней находил сходство с Варенькой Лопухиной и это привязывало его к ней...

Лермонтову оставалось жить ровно неделю.

Ресторан Найтаки. За открытыми окнами видны горы, зелень садов. Играет музыка.

В ресторане шумно, обедает компания офицеров и статских юношей. За отдельным столом за колонной сидят князь А.Васильчиков и жандармский офицер Кушинников, прикомандированный в Пятигорск для слежения за поведением офицеров. Слуги подают шашлык, шампанское.

- Князь, ваш отец велел вам кланяться. Он жив, здоров.

- Благодарю вас, господин подполковник. Вы надолго в Пятигорск?

- Пока не знаю. Двор интересуется поручиком Лермонтовым. Он торчит бельмом на глазу у Двора и государя. «Лермонтов не должен вернуться с Кавказа» - это слова государя. Его величество опасается, что Лермонтов может стать причиной очередных волнений и вольнодумства в России.

- И эти опасения не беспочвенные. Популярность среди молодежи его растет. Его стихи полны протеста…

- Да, и его поведение заслуживает осуждения. Он самовольно принял решение о лечении в Пятигорске, имея на руках высочайшее указание следовать в свой полк…

- Его вызывающее поведение здесь многим не нравится. За короткое время он нажил многих врагов. Многие желают наказать несносного выскочку и задиру, ожидают случая, что кто-нибудь, выведенный из терпения, проучит ядовитую гадину. Едкие эпиграммы, колкости, карикатуры – все это накопилось взрывоопасным зарядом. Он сумел настроить против себя даже своего товарища по Школе юнкеров майора Мартынова.

- Александр Христофорович Бенкендорф советует нам самим в Пятигорске обуздать Лермонтова. Нельзя ли подтолкнуть этого Мартынова на дуэль с Лермонтовым, намекнув ему, что это желательно для Двора и серьезных последствий не будет даже в случае смертельного исхода?

- Я пригласил господина Мартынова сегодня на ужин. Он должен подойти сюда.

В это время в ресторан вошел Мартынов.

- А вот и Николай Соломонович, - сказал Васильчиков, представляя Мартынова Кушинникову.

Мартынов явился, как всегда, в черкеске с двумя огромными кинжалами. Он угрюм. Васильчиков пододвинул Мартынову стул рядом с собой. Мартынов сел.

- Что, Николя, не весел, что голову повесил? – спросил его Васильчиков.

- Да так, все как-то нескладно… В семье разлад, делим наследство отца… Надоели шутки Лермонтова. Как с цепи сорвался…

- Ты, я вижу, совсем раскис. Я тебе сочувствую, Николай Соломонович. Тебе больше всех достается. Это ни на что не похоже. Его следовало бы проучить! Он явно зазнался и думает, что только он один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги… И что за надменная улыбка! Впрочем, я уверен, что он трус, - да, трус!

- Нет, в трусости его нельзя обвинить. Я видел его в деле…

- Он любит отшучиваться, - продолжал Васильчиков. - Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Лермонтов все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться... Но с тобой – это совершенно другое… Он зол на тебя за то, что ты отбил у него Эмилию.

- Он и ей наговорил дерзостей…

- Почему бы вам не вступиться за любимую женщину? – вступил в разговор жандармский офицер, - защитить свою и ее честь.

- Неужто боишься дуэли? – спросил Васильчиков.

- Понимаешь, Васильчиков, все-таки… Лермонтов…

- Если вас, господин Мартынов, сдерживает опасения за возможные последствия дуэли, то я вам могу гарантировать минимальное наказание за любой исход дуэли. Открою вам карты. Двор желал бы избавиться от Лермонтова любым путем, – снова вступил в разговор жандармский офицер.

- И потом ты ничем не рискуешь, Мартынов, ты ведь знаешь, что Лермонтов на дуэлях ни разу не стрелял в своего противника, тем более, ты его друг, - добавил жандарма Васильчиков.

Мартынов надолго задумался.

- Но для дуэли надо найти серьезный повод, - как бы про себя сказал Мартынов.

- Послушай, придерись на ближайшей вечеринке к какой-нибудь глупости и вызови Лермонтова на дуэль... - За условия дуэли я берусь; я буду твоим секундантом. Хорошо?

- Хорошо, - ответил Мартынов не совсем уверенно.

12 июля, когда Лермонтов и Столыпин явились к коменданту Ильяшенкову с просьбой о продлении лечения еще на две недели, тот посоветовал Лермонтову покинуть Пятигорск, поскольку пребывание его здесь становится опасным. Видимо комендант знал то, чего не знали другие. Ильяшенков заботился о безопасности поэта, ну и конечно, стремился избежать неприятностей. Он вполне мог знать о готовящемся заговоре против Лермонтова. В таком клубке змеином комендант безусловно держал ухо востро, и у него были «глаза» и «уши» в городе. Кое о чем догадывался и сам Лермонтов.

Лермонтов отшутился, сказав, что в заговоры не верит и что за две недели ничего не случится.

- Рискуешь, Михаил Юрьевич, - сказал ему на прощанье Ильяшенков.

Выслушав полковника, Лермонтов все же записал в альбом несколько строк:

*Им жизнь нужна моя, - ну, что же, пусть возьмут,*

 *Не мне жалеть о ней!*

*В наследие они одно приобретут -*

 *Клуб ядовитых змей.*

*Мои друзья вчерашние - враги,*

 *Враги - мои друзья,*

*Но, да простит мне грех господь благий,*

 *Их презираю я...*

*Вы также знаете вражду друзей,*

 *И дружество врага,*

*Но чем ползущих давите червей?..*

 *Подошвой сапога.*

1. **Глава шестая. Три последних дня**

Наступило 13 июля 1841 года. На этот день была назначена вечеринка у Верзилиных. Собралась почти вся молодежь, проживавшая рядом. Перед танцами решили заняться музыкой. Лермонтов обладал тонким музыкальным слухом, сам музицировал, поэтому терпеть не мог, когда кто из любителей, даже и талантливый, играть или петь начнет; всегда это его раздражало. А тут, как на грех, засел за фортепиано юнкер Бенкендорф, которого Михаил Юрьевич и без того недолюбливал. Он начал играть, и чем дольше он играл, тем мрачнее и чернее становились глаза Лермонтова. Наконец, он не выдержал и обратился к поручику Раевскому:

- Николя, будет с нас музыки. Садись вместо него, играй кадриль. Пусть уж лучше потанцуют.

Вдруг появился Мартынов. Франт! Просто сияет. Бешметик беленький, черкеска тонкого верблюжьего сукна без галунчика, а только черно тесемкой обшита, и серебряный кинжал чуть не до пола.

Когда он вошел, кто-то из гостей крикнул:

- Большой кинжал, вот дама, становись в пару, сейчас начнем.

Он будто и не слыхал, наморщился слегка и прошел в диванную, где сидела вместе с гостями Эмилия. Уж больно ему этим «Кинжалом» надоедали. И от своих, и от приезжих – ему другого имени не было.

Лермонтов, заметив реакцию Мартынова, не сдержался.

- Велика важность, что «Кинжалом» назвали. Не след бы из-за этого неучтивость делать!

Мартынов, изменившись в лице, ответил:

- Михаил Юрьевич! Я много раз просил!.. Пора бы и перестать!

Лермонтов сдержался, ничего ему не ответил, потому что увидел, какая от этих слов на всех лицах легла тень.

Лермонтов был не в духе. Тут и с князем Голицыным, которого, в сущности, он уважал, произошла размолвка, тут и от музыки раздражение…

Он душой отдыхал в компании наивной Наденьки Верзилиной, которая по-детски была жизнерадостна и остроумна. Заметив ухаживание Лермонтова, хозяйка дома стала принимать к Наденьке воспитательные меры. Она отозвала ее в спальню и сказала, что та неровно себя держит с Михаилом Юрьевичем. Наденька расплакалась, но мать сказала, чтобы она не капризничала и шла к гостям. Умывшись и немного успокоившись Наденька вышла снова в залу, перед этим прицепив себе на пояс небольшой кинжал – игрушку в малиновой оправе с серебром. От Лермонтова это не могло укрыться, и он, заметив перемену в ее настроении, тотчас предложил написать экспромт. И на ломберном столе он написал мелом на зеленом сукне:

*Надежда Петровна,*

*Зачем так неровно*

*Разобран ваш ряд,*

*И букли назад?*

*И локон небрежный*

*Над шейкою нежной...*

*На поясе нож.*

*C'est un vers qui cloche. (В переводе: Вот стих, который хромает)*

Наденька улыбнулась и тут же отпарировала поэту последнюю строчку:

- Зачем на поясе нож? Извольте, сейчас скажу: затем, чтобы заколоть каждого, кому не нравлюсь, и, главное, того демона, который захочет возмутить наш покой!..

Фраза о демоне, конечно, предназначалась Лермонтову. Он пришел в положительный восторг и в туже минуту воскликнул:

- Надежда Петровна, да вы совершеннейшая прелесть! Но что-нибудь одно из двух: убейте меня, если я кажусь противным, или Мартынова, потому что он мешает боготворить вас!

Девушка с хохотом вскочила со своего места и приняла театрально-величавую позу.

- Хорошо, я посмотрю еще!.. Но знайте: тот, который провинится первый, расплатится своей жизнью…

Раздался всеобщий смех гостей. Со всех сторон послышалось: «Браво! Браво, Надежда Петровна!»

Молодежь окружила Надю, и всем стало необыкновенно весело. Лермонтов тоже встал со своего стула и, сложив крестообразно руки на груди, произнес шутливо-покорным тоном:

- Предаю дух мой и себя самого великому милосердию и справедливости… Карайте, карайте меня, если кажусь виновником вашего неспокойствия…

Мартынов в этот вечер больше всего танцевал с Надеждой Петровной, которая была весела и не переставала улыбаться своему кавалеру. Лермонтов сердился, но на это никто не обращал внимания.

Не принимая участия в танцах, он снова присел к ломбардному столику и занялся рисованием. Из-под мела его вышло карикатурное изображение Мартынова с засученными рукавами и всегдашним длинным кинжалом. Лицо имело большое сходство с мартышкой. Рядом он набросал курчавую головку и отделал ее с самым старательным изяществом. Покончив с рисованием, поэт закрыл крышку и стола и стал ждать перерыва танцев.

Только что они прекратились, Лермонтов подошел к Наде, и тихонько предложил ей посмотреть ее изображение, которое так подходит к теперешнему ее счастливому настроению. Надя сначала было уклонилась, но потом взяла предложенную поэтом руку и подошла с ним к столу. Он открыл крышку и, быстро подписав под карикатурой М., а под ее изображением Н., спросил вполголоса:

- Скажите откровенно, Надежда Петровна: возможно ли, чтобы эти два имени могли соединиться?

Девушка вся вспыхнула и сразу не нашлась, что ответить. Но спустя минуту она резко и решительно сказала:

- Вы злой гений и сходите с ума! Пожалуйста, оставьте меня в покое.

Вырвав руку, она убежала в свою комнату.

Мартынов зорко следил за всем и все, разумеется, видел, хотя ничего не понимал, что происходило у стола. Только что Надя скрылась, он направился к столу, но Лермонтов, заметив его приближение, уже стер нарисованное и закрыл крышку под самым носом приятеля. Однако Мартынов, несомненно понял, что была какая-то злая острота на его счет. Он смолчал и отошел к другим гостям.

Тем временем вечеринка продолжалась. Эмилия сидела у окна. Вечерний свежий воздух освежал ее лицо. К ней подошли Лев Пушкин и Лермонтов, сели рядом и, по обыкновению, стали свои языки точить, затрагивая и Мартынова. Несмотря на предостережения Эмилии, остановить их было трудно. Ничего злого они не говорили, но смешного было много.

Пушкин ушел и настроение Лермонтова резко изменилось. Он стал грустным.

- О чем ты думаешь? - спросил он Эмилию.

- Я думаю, что ты самый ужасный насмешник…

- И за это сердишься на меня?

- Очень сержусь…

- Я насмешник, даже злой... Так не говори больше: я знаю, что это отзыв обо мне всех. Нет, верь мне, я не зол, это клевета моих завистников… Ты на меня сердишься…

- Я недовольна тобой…

- Если я тебя огорчил, прости меня: мне сегодня, сейчас, так что-то тяжело… Ты прощаешь меня?

- Конечно, но с условием…

- С каким?

- Впредь, чтобы ты…

- Понимаю, - сказал Лермонтов, - ты прощаешь меня, забывая старое; еще прошу не верить, чтобы я был зол; это ложь, клевета…

Лермонтов казался растроганным, глаза его наполнились влагой…

Музыка заиграла вальс.

- Эмилия, позволь мне в последний раз в моей жизни станцевать с тобой этот вальс.

Она посмотрела на него удивленно.

- Ну, если последний, то, пожалуй, станцуем. Только дайте мне слово, что не будете больше сердить меня.

- Не буду, раз тебе это не приятно.

И они закружились в танце.

Станцевав, они снова сели рядом. Раевский играл на фортепиано. Заметив приближающегося к ним Мартынова, Лермонтов сказал Эмилии:

- Будьте осторожны, Эмилия, к нам приближается дикий кавказский Большой кинжал.

На слове «кинжал» музыка прекратилась, и его услышали почти все в зале. Лицо Мартынова перекосилось.

- Я вижу, Лермонтов, ты моими просьбами пренебрегаешь, - сказал он зло и быстро отошел.

- Мишель, - сказала Эмилия, - язык мой – враг мой.

- Ничего, завтра мы снова будем друзьями, - ответил Лермонтов.

Гости стали расходиться. Лермонтов с Глебовым вышли последними. Перешепнувшись с Васильчиковым, их догнал Мартынов.

- Лермонтов, я тобой обижен, мое терпение лопнуло, - сказал он, обращаясь к Лермонтову.

Лермонтов рассмеялся.

- Ты вызываешь меня на дуэль? Знаешь, Мартынов, я дуэли не боюсь, а тебе советую зайти на гауптвахту и взять вместо пистолета хоть одно орудие; послушай, это оружие вернее – промаху не даст, а силы поднять у тебя станет.

Мартынов взбесился.

- Ты не думай, что это была шутка с моей стороны. Мы будем стреляться! – выпалил он, и отошел.

Лермонтов, улыбаясь, обнял за плечи Глебова и проговорил совсем не весело:

- Вот видишь, Миша, снова дуэль. Теперь за нее меня точно сошлют в Сибирь… Ты согласишься быть моим секундантом, если Мартынов не передумает?

- Конечно, Мишель… Но как-то все глупо получается…

- Ну, зачем тебе понадобилось дразнить этого дурака Мартынова. Дело дошло до дуэли. Мало тебе и без того неприятностей было? Только что была эта история с Барантом, а тут опять. Ты же знаешь, если это докатиться до Петербурга, тебе не сдобровать.

Такими словами встретил Лермонтова Столыпин дома.

- Монго, ты все о том же. Да ничего не будет. Мы оба выстрелим в воздух, и все окончится бутылкой шампанского.

- Дернула тебя нелегкая приехать в этот проклятый Пятигорск! Уж сидел бы лучше на Чеченской линии… Завтра поедем в Кисловодск, может здесь все успокоится. Давай, спать…

В эту ночь Лермонтов во сне видел себя неподвижно лежащим на песке среди скал в горах Кавказа с глубокой раной от пули в груди и видящим в сонном видении близкую его сердцу, но отдаленную тысячами верст женщину, видящую в сомнамбулическом состоянии его труп в той долине… Этой женщиной была его Варенька Лопухина…

Лермонтов не только предчувствовал свою роковую смерть, но и видел ее заранее. И эта удивительная фантасмагория увековечена в его стихотворении «Сон».

*В полдневный жар в долине Дагестана*

*С свинцом в груди лежал недвижим я;*

*Глубокая еще дымилась рана,*

*По капле кровь точилася моя.*

*Лежал один я на песке долины;*

*Уступы скал теснилися кругом,*

*И солнце жгло их желтые вершины*

*И жгло меня - но спал я мертвым сном.*

*И снился мне сияющий огнями*

*Вечерний пир в родимой стороне.*

*Меж юных жен, увенчанных цветами,*

*Шел разговор веселый обо мне.*

*Но в разговор веселый не вступая,*

*Сидела там задумчиво одна,*

*И в грустный сон душа ее младая*

*Бог знает чем была погружена;*

*И снилась ей долина Дагестана;*

*Знакомый труп лежал в долине той;*

*В его груди, дымясь, чернела рана,*

*И кровь лилась хладеющей струей.*

Утром друзья верхом отправились в Кисловодск, чтобы купить билеты на ванны. Последние две недели они намеревались провести там, принимая кислые ванны.

А тем временем в Пятигорске в комнате князя Васильчикова собрались все, кто был посвящен в возможную дуэль между Мартыновым и Лермонтовым. В комнате, кроме Васильчикова, присутствовали Михаил Глебов и Руфин Дорохов. Дорохов был необыкновенно ловкий, изворотливый человек очень уважавший и преклонявшийся перед Лермонтовым. Дорохова пригласил Глебов, как опытного дуэлянта, за плечами которого было 15 дуэлей, в надежде, что он поможет расстроить дуэль.

- Прежде чем говорить об условиях дуэли, - начал первым Дорохов, - надо встретиться с Мартыновым. Может быть, он погорячился и уже передумал, ведь повод пустячный.

Все согласились и направились к Мартынову. Он был у себя, сидел в халате и пил утренний чай.

- С чем пожаловали, друзья? – задал он вопрос вошедшим. – Садитесь.

Васильчиков сел рядом с Мартыновым.

- Мартынов, - начал Глебов, - мы хотели бы узнать о серьезности твоих намерений стреляться с Лермонтовым.

- Почему ты об этом спрашиваешь?

- Меня Лермонтов пригласил быть его секундантом на случай дуэли.

- Так он уже и секунданта назначил… - Мартынов посмотрел на Васильчикова. – Тогда, князь, окажите мне честь быть моим секундантом.

- Не откажусь…

- Мартынов, я тебя прошу, как хорошего товарища, - обратился Дорохов, - нужно ли доводить дело до дуэли. Лермонтов ведь каждому из нас говорил колкости. Да и мы его не жаловали… Но ведь это Лермонтов…

Мартынов опустил голову. Васильчиков, увидев нерешительность Мартынова, незаметно толкнул его под столом ногой.

- Руфин, - подняв глаза, стал говорить Мартынов, - я много раз просил Михаила Юрьевича не произносить свих глупых шуток в присутствии дам. Он обещал и снова продолжал. Мое терпение кончилось, и мы будем стреляться…

- Как ты это себе представляешь? – обратился к нему Глебов. – Ведь ты прекрасно знаешь, что Лермонтов в тебя стрелять не будет. Ты сможешь стрелять в безоружного своего друга, по сути, из-за пустяка?

- Это дело Лермонтова стрелять или не стрелять. Я дуэлью шутить не намерен. Ваши уговоры бесполезны, мое решение твердое. Секунданты могут приступить к выработке условий дуэли…

Своим видом он дал понять, что всякий разговор бесполезен.

Все трое вышли от Мартынова, направляясь снова в комнату Васильчикова. Глебов, который соединял в себе отважную храбрость с самым любезны сердечным добродушием, был в подавленном настроении.

Сев за стол, они начали обсуждать сложившуюся ситуацию.

- Дуэль неизбежна, - начал Васильчиков. - Может суровые условия дуэли, грозящие смертельной угрозой, заставят примириться противников?

- Это разумное предложение, - согласился Дорохов. – Стреляться, например, на десяти шагах.

- Я бы ужесточил это условие, добавив, что каждый имеет право на три выстрела до результативности дуэли, - добавил Васильчиков.

- Можно и с этим согласиться, - сказал Дорохов.

- Господа, - вступил в разговор Глебов, - я против того, чтобы дистанция для стрельбы была на десяти шагах. На таком расстоянии даже ребенок не промахнется. Я еще раз вам говорю, что Лермонтов в Мартынова стрелять не будет. Расстояние должно быть не менее двадцати шагов.

- Васильчиков, ты согласен на оговоренные условия дуэли с учетом вполне разумного предложения Глебова? – спросил Дорохов.

- Согласен. - Ответил Васильчиков. – Глебов, на когда назначим время дуэли?

- Лермонтов с Столыпиным уехали в Кисловодск. Сегодня они вряд ли вернутся. Тогда завтра, ближе к вечеру, к часам шести по полудню.

Глебов нарочно оттягивал время дуэли, надеясь, что страсти улягутся, и дуэли не будет. Признаться, в возможность дуэли мало кто верил.

- Ладно, пусть будет так, - сказал Дорохов. – Теперь ты, князь, передашь время и условия дуэли Мартынову, а ты, Глебов, – Лермонтову.

- Я предлагаю встретиться к вечеру еще раз и переговорить с Мартыновым, может, он все же одумается, - высказал свое предложение Глебов. – И еще, о дуэли не должен знать никто.

Все согласились.

Но и вечерняя встреча результата не дала, Мартынов твердо стоял на своем. Он охотно пошел на поводу у людей, провоцирующих дуэль, рассчитывая на безнаказанность и свою безопасность.

В Кисловодске Лермонтов и Столыпин купили по пять билетов на кислые ванны. Было уже три часа по полудни.

- Ну, что, Монго, едем обратно? – спросил Михаил Юрьевич.

- Мишель, я думаю, нам не стоит сегодня возвращаться в Пятигорск.

- Ты снова за свое. Пустяку придаешь столько внимания.

- Мишель, поверь мне, дуэль – это не пустяк. Ты слишком доверчив к друзьям.

- Ерунда, едем…

- Мишель, прошу тебя остаться. Пусть Мартынов перебесится и остынет, не видя тебя перед глазами…

Лермонтов задумался. Наконец, он махнул рукой и сказал:

- Остаемся… Тогда поедем пообедаем и займемся поиском здесь квартиры, впереди ведь две недели водных процедур и ванн.

Пообедав, квартиру они нашли быстро в доме отставного генерала.

Остаток дня Лермонтов провел за рисованием великолепных пейзажей, окружавших Кисловодск.

Спать легли поздно. Лермонтов лежал с раскрытыми глазами. Два часа ночи... не спится... Голова была полна набежавших мыслей:

“А надо бы заснуть… Завтра возможно будет дуэль...

Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно…

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие - мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь - из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!..”

Наконец он уснул…

Утром в Кисловодск приехала целая компания – Глебов, Лев Пушкин, юнкер Бенкендорф, поэт М.Дмитриевский, Катя Быховец с своей теткой М.А.Обыденной.

Глебов сообщил Лермонтову о дуэли и ее условиях.

- Ну, что ж… Дуэль так дуэль… - сказал Лермонтов. - Монго, ты езжай в Пятигорск, поздравь с днем рождения генерала Голицина, и от моего имени, извинись, что не могу засвидетельствовать лично… И еще попрошу тебя на часов семь закажи ужин и купи ящик шампанского.

- Хорошо! Будь осторожен, Мишель…

- Не волнуйся, все обойдется...

Столыпин уехал с беспокойным сердцем, хотя не предполагал, что дуэль может закончиться трагически…

Лермонтов при всех был в хорошем расположении духа, много шутил, пригласил всех к чаю. После чая все пошли гулять в парк.

Лермонтов шел с Катей Быховец, взяв ее под руку.

- Катенька, душенька, как хорошо, что ты приехала. Это для меня настоящий праздник.

Когда они остались одни, настроение его изменилось. Взгляд его стал печальным, он ужасно грустил, глаза часто наполнялись непрошенной слезой.

Катя, не зная о предстоящей дуэли, объясняла это его любовью к Лопухиной, которую она ему напоминала.

Неожиданно у Кати распустилась коса, и украшавшая ее фероньерка на узеньком золотом ободке упала на дорожку. Лермонтов ее быстро поднял и спрятал в карман.

- Пусть она побудет у меня, - попросил Лермонтов. – Потом тебе ее отдадут…

К двенадцати часам все отправились в обратную дорогу. На полпути они заехали в колонию Каррас, или как ее еще называли – Шотландка. Это небольшая немецкая колония располагалась в восьми километрах от Кисловодска. Шотландка была любимым местом отдыха многочисленного «водяного общества». Особой популярностью пользовался небольшой ресторанчик услужливой немки Анны Рошке. Здесь подавали обеды, шашлык, чай, кофе.

Заказали шашлык, вина… Обед длился долго. Было шумно, весело, много тостов…

К часам пяти по полудню все тронулись в путь, в Пятигорск.

Уезжая, Лермонтов поцеловал руку Кати Быховец.

- Кузина, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни, - сказал он как-то по-особому проникновенно.

- Ну, что ты такое говоришь, Мишель?.. Мы с тобой еще и увидимся, и потанцуем…

На обратном пути к Пятигорску Лермонтов ехал рядом с Глебовым. Всю дорогу из Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных распоряжений от него Глебов не слыхал. Он ехал как будто на званый пир какой-нибудь. Всё, что он высказал за время переезда, это сожаление, что он не мог получить увольнения от службы в Петербурге и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд.

- Я выработал уже план двух романов – одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене, и другого – из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове… персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране. И вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приняться за кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет отправляться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции, когда вернемся… Если вообще вернемся… - делился он своими планами с Глебовым.

Перед Пятигорском Лермонтов и Глебов покинули компанию и повернули к месту дуэли.

**7. Глава седьмая. Дуэль и шаг в бессмертие**

Подошва Машука, Перкалинская скала. Старый дуб. Густой кустарник. Над Машуком висит тяжелая грозовая туча. От тучи дует ветром. Блещут молнии. Медленный, все нарастающий гром.

Когда Лермонтов с Глебовым подъехали к месту дуэли, там уже находились Мартынов с Васильчиковым.

Лермонтов и Глебов привязали своих лошадей к рядом расположенному кустарнику.

Васильчиков начал заряжать пистолеты.

- Господа, - обратился к дуэлянтам Глебов, - в последний раз предлагаю вам примириться.

- Я согласен, - сказал Лермонтов, - принести свои извинения когда угодно и где угодно будет Мартынову. Мне не приходило в голову обидеть его, даже огорчить. Все это было шуткой... А потом с Мартыновым бесполезно стреляться. Попадешь в лоб – пуля отскочит. Попадешь ниже – там броня из кинжалов.

- А ты, Мартынов?

Вместо Мартынова ответил Васильчиков:

- Мартынов тоже согласен, если Лермонтов, извиняясь и прося прощения, пообещает впредь никогда не отпускать шуток в его адрес.

- Я удивляюсь, господа, как вы смеете предлагать мне такие условия? – с гневом в голосе спросил Лермонтов.

- Ну, что ж, - сказал Васильчиков, - пистолеты заряжены, можно начинать. – Глебов, отмеряй положенные шаги между барьерами.

- Васильчиков, - обратился Глебов, - а где же доктор? Ты же обещал привезти.

- Все они оказались трусами, никто не согласился ехать. Давай, быстрее отмеряй дистанцию, видишь, гроза собирается.

Глебов отмерил двадцать шагов между барьерами и еще по десять шагов в сторону от барьеров.

Противников поставили на исходные позиции. Глебов вручил пистолет Лермонтову, Васильчиков – Мартынову.

Лермонтов стоял в красной рубашке, Мартынов снял черкеску, но снова одел пояс с кинжалами.

- Господа, - обратился Васильчиков к дуэлянтам, - напоминаю, что двигаться к барьерам надо после команды «Сходитесь!», стрелять можно, подойдя к барьеру по счету “раз, два...” После счета “три”, если выстрел не состоялся, дуэль прекращается.

- Я в этого дурака стрелять не буду! Вам известно, что я стреляю хорошо, такое ничтожно расстояние не позволит мне сделать промах; убить его - то же, что раздавить муху, - сказал громко Лермонтов.

Мартынов задрожал, но промолчал.

- Мишель, - обратился Глебов, - я тебя прошу закрыть сердце пистолетом.

- Не переживай, Мишка, мы с тобой сегодня еще выпьем шампанского.

- Господа, готовы? – взял на себя роль распорядителя дуэли Васильчиков. – Сходитесь!

Лермонтов остался стоять на месте с легкой усмешкой на лице. Пистолет его был поднят дулом вверх.

Мартынов начал движение к барьеру, тщательно прицеливаясь. На лице Лермонтова улыбка сменилась на презрительную гримасу, он быстро закрыл локтем сердце. Мартынов подошел к барьеру, и сделал еще один шаг за барьер…

Васильчиков начал отсчет:

- Раз, два...

Лермонтов поднял руку и выстрелил в воздух.

Васильчиков продолжил счет:

- Три...

Удар грома и выстрел Мартынова слились в один звук… Рука Мартынова дрогнула…

Мартынов промахнулся… Пуля едва задела рукав рубашки Лермонтова. Глебов подбежал к Лермонтову.

- Мишель, с тобой все в порядке?

- Как видишь…

- Господа, - обратился к дуэлянтам Васильчиков, начав снова заряжать пистолеты, - у вас по условиям дуэли еще по два выстрела.

Лермонтов, подойдя к Мартынову и Васильчикову, спокойно сказал:

- Господа, я вижу, вы сговорились убить меня и ведете себя противу правил. Глебов, ты тоже с ними заодно?

- Что ты, Мишель?

- Тогда будь свидетелем справедливости моих слов. Я прекращаю свое участие в дуэли… Впрочем, - после короткой паузы продолжил Лермонтов, - если ты, Мартынов, желаешь, мы продолжим дуэль, но только на этот раз я в воздух стрелять не буду. А ты знаешь, я с такого расстояния не промахнусь.

Мартынов стоял молча с каменным выражением лица. Васильчиков дергнул его за рукав, но тот не реагировал. В голове его вертелась только одна мысль: «Я опозорен навсегда. Завтра мне никто руки не подаст…»

Лермонтов грустно улыбнулся и пошел отвязывать лошадь. Сев в седло, он подъехал к стоявшим все в той же позе всем троим участникам дуэли.

- Глебов, едем со мной, ужин стынет… А ты, Мартынов, все же подлец и трус…

Неожиданно Мартынов выхватил с рук Васильчикова пистолет, и, не целясь, выстрелил в упор Лермонтову почти в спину…

Тело Лермонтова начало медленно сползать на землю…

- Мишель! - закричал Глебов, подхватывая его падающее тело.

Он положил его на уже мокрую землю, пошел дождь. Рана была сквозной и ужасной: пуля попала снизу в правый бок и вышла у левого плеча.

Жизнь еще теплилась в теле. Лермонтов вдруг увидел яркий свет, сквозь который к нему протягивала руки женщина в белых одеждах.

- Сынок, Мишель, как долго я ждала тебя! Иди скорее ко мне, я обниму и поцелую тебя!!!

- Мама! Мамочка!!! – хотелось ему крикнуть. Но он не смог… Свет погас, все исчезло, наступила вечная ночь.

*Как безумцу любовь,*

*Мне нужна его кровь.*

*С ним на свете нам тесно вдвоем!..*

*Н.С.Мартынов*

**ЭПИЛОГ**

Над мертвым телом Поэта стояли трое растерянных людей. Мартынов бросил на землю пистолет. Руки его дрожали. Гримаса ненависти сменилась гримасой страха. Ливень продолжался. Гром и молнии раскалывали небо… Начинало темнеть… Васильчиков произвел выстрел из пистолета Лермонтова.

- Мартынов, - первым нарушил молчание Глебов, - Что ты наделал? Ты убил его… Убийца! Убийца!!!!

Мартынов, опустив голову, молчал.

- Не хорошо получилось, - проговорил Васильчиков. – Мы все теперь виноваты и этой смертью повязаны. Надо думать, что делать… В лучшем случае, нас ждет каторга. Мне туда не хочется. Глебов, что будем делать?..

- Не знаю, надо ехать к коменданту… И Мишеля нельзя здесь оставлять…

- К коменданту мы всегда успеем, - продолжал Васильчиков. – Я предлагаю нам договориться о случившемся. Лермонтов был убит на дуэли, тем более что она состоялась…

- Это подло, князь!.. – ответил Глебов.

- Согласен, подло… Но у меня и у тебя есть мать и отец… Ты о них подумал? Что мы им скажем? Смогут ли они перенести все это, если нас отправят на каторгу или повесят? Лермонтова мы уже не воскресим, но погубим свои жизни и их тоже... Уверен, Лермонтов нас простит… Мартынов, ты согласен? – обратился он к Мартынову.

- Согласен, - выдавил из себя Мартынов.

- Подлец! – посмотрев на Мартынова, сказал Глебов. – Честь у тебя есть?..

- Не будем сориться, нам больше дуэлей ни к чему. Давайте, поклянемся, что каждый из нас будет придерживаться на следствии этой версии… Клянусь! - первым произнес Васильчиков.

- Мартынов, клянись…

- Клянусь… - хриплым голосом сказал Мартынов.

- Глебов, как ты?.. Клянись, другого выхода нет.

Глебов не отвечал… Внутри у него шла борьба противоречивых намерений… Потом и он молча кивнул головой в знак согласия…

В этот момент раздался страшной мощи раскат грома. Казалось, что небо раскололось, что какая-то сверхъестественная сила протестовала против творимого зла и несправедливости.

Гром долго не затихал в теснинах Кавказа. Это было 15 июля 1841 года – сто семьдесят семь лет назад.